28
С 336

И. М. СЕЧЕНОВ

Автобиографические записки

3209 83г.
3063/87
1432-89

M. Cabrera.

V

ПРОВЕРЕНО 1959 г.

28
С38

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
МЕМУАРЫ

ПРОВЕРЕНО 1959 г.

Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова

15008

Библиотека мединститута
Новосибирск

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
1945

ИГПУ проверено 1986 г.

+92 Сеченов
28
С 336

Под общей редакцией Комиссии АН СССР по изданию научно-популярной литературы

Председатель Комиссии академик *В. Л. КОМАРОВ*
Зам. председателя академик *С. И. ВАВИЛОВ*
Зам. председателя чл.-корр. АН СССР *П. Ф. ЮДИН*

Редакция и предисловие
Х. С. КОШТОЯНЦА

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

«Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова» представляют собой один из лучших образцов русской мемуарной литературы. Исключительный интерес этих записок заключается в том, что они охватывают наиболее яркий период в истории общественной жизни дореволюционной России. В них, как ни в каком другом литературном произведении, дана картина зарождения и развития отечественной науки и борьбы за науку в царской России. Знаменосцем этой борьбы был неизменно Иван Михайлович Сеченов — признанный учитель блестящей плеяды русских естествоиспытателей XIX в., смело и дерзновенно взявшихся за разработку наиболее трудных проблем науки, закладывающих фундамент передового материалистического мировоззрения.

«Автобиографические записки» раскрывают перед нами живую картину того, как под влиянием передовых идей великих революционеров-пятидесятников и шестидесятников складывались собственные передовые традиции отечественной науки в России, как развивалась наука в России, побуждаемая собственными интересами нашего отечества.

«Автобиографические записки» воскрешают в нашем сознании ту эпоху деятельности передовых русских людей, когда закалялась воля к борьбе с царизмом, когда вспыхнула та искра, из которой возгорелось священное пламя борьбы русского народа против реакции, за освобождение от ига эксплоатации и духовного гнета десятков народа, населявших безбрежные просторы Российской империи.

И. М. Сеченов — сверстник Н. Г. Чернышевского и его сподвижник. Сеченов — один из ярчайших представителей того замечательного поколения русских людей, которых чтит потомство под именем шестидесятников. Вместе с другими шестидесятниками Сеченов прошел огромную, напряженную школу борьбы и духовных исканий. Уже юношей он испытывает на себе бездушие и духовный гнет царских сатрапов. Иронически спокойно Сеченов рассказывает о годах своего обучения в Михайловском инженерном училище. Но сквозь иронию мудрого старика, писавшего свои воспоминания об этом периоде своей жизни спустя 60 лет, мы ощущаем его гнев против казарменной муштры, его благородный протест против унижающих достоинство человека экзекуций. Читая главу, посвященную годам обучения в Михайловском училище, мы видим бесстрашного юношу, посмевшего восстать против бездушных николаевских офицеров и этим самым стать объектом мелкой, но жестокой мести. За смелый поступок — изобразить в комичном виде великого князя перед всем вторым классом — мальчика Сеченова сажают в темный карцер и выпускают оттуда «без ефрейторских нашивок, разжалованным». Это было началом той мести царизма великому русскому мыслителю, которая преследовала его до конца жизни.

Как разжалованному, Сеченову не дали возможности перейти в старший класс и выпустили его в чине младшего саперного офицера.

Но молодого офицера ждала другая, блестящая судьба, как и его родину, загоревшуюся великой страстью освободительного движения. «Автобиографические записки» показывают людей и обстановку, в которой происходило формирование Сеченова как ученого-материалиста и шестидесятника.

В скупых записях оживает кружок Грановского, редакция «Молодого москвитянина», московские студенческие кружки 40-х годов, собрания на частных квартирах передовых московских профессоров. Короткие, но яркие записи рисуют, как в огне событий исчезают идеалистические колебания молодого Сеченова и как он становится на путь материализма. Но в «Автобиографических записках» мы не видим многих лиц, чье идейное влияние сыграло решающую роль в формировании мировоззрения Сеченова. Сеченов не называет имени Чернышевского, его близких соратников, не называет редакции «Современника», имен многих революционных деятелей, тесная связь с которыми сыграла исключительную роль в определении всего его жизненного пути на поприще борьбы за науку и против реакции. Это — не недостаток «Автобиографических записок», а скорее еще одна черта этого замечательного человеческого документа, рассказывающего о том, как смелый и бесстрашный рыцарь задыхался в душных стенах царской России и не мог писать обо всем, постоянно имея в виду первого читателя своих мемуаров — царскую цензуру. Сеченов не рискует в «Автобиографических записках» полностью написать фамилию Герцена, обозначая ее лишь буквой «Г», хотя речь идет о сыне А. И. Герцена — физиологе А. А. Герцене. Но в настоящее время мы располагаем обширным архивным материалом, который с неоспоримостью доказывает самую тесную личную и деловую связь Сеченова с представителями революционной интеллигенции 50—70-х годов прошлого века и в первую очередь с Н. Г. Чернышевским и его соратниками. Об этом же говорят ставшие после революции доступными архивные материалы царской охранки. Все эти вопросы подробно разобраны в монографии автора этой вступительной статьи под названием «Сеченов», изданной в биографической серии Академией Наук СССР, а также в ряде работ, опубликованных проф. К. Х. Кекчеевым, впервые систематически приступившим к изучению архивных документов, относящихся к И. М. Сеченову.

«Автобиографические записки» исключительно живо рисуют картину жизни и традиций русских высших учебных заведений второй половины XIX в. Сеченов как профессор Медико-хирургической академии, Московского, Петербургского и Новороссийского университетов имел печальную возможность до дна испить горькую чашу жизни страстных борцов за науку и воспитание молодежи в духе непреклонной борьбы за интересы народа против царского режима, выпавшей на долю передовых ученых России этого периода. В «Автобиографических записках» даны блестящие зарисовки разных группировок среди русской профессуры XIX в. Мы видим здесь таких мракобесов, которые в угоду начальству готовы были итти на измену своей совести и своему народу, и читаем страстные, негодующие отзывы о них Ивана Михайловича. С исключительной теплотой и глубокой любовью Сеченов пишет о своих друзьях по борьбе за науку в царской России — Мечникове, братьях Ковалевских, Менделееве и других. Дружба этих великих русских естествоиспытателей с особенной полнотой отражена в опубликованной в недавнее время переписке в сборнике «Борьба за науку в царской России» под редакцией С. Я. Штрайха; в ней читатель может получить чрезвычайно важные сведения, гармонически дополняющие материал «Автобиографических записок». Объединенные желанием заложить основы отечественной науки, поднять свой народ на уровень служения мировой культуре, Сеченов, Менделеев, Мечников, братья Ковалевские бережно заботятся друг о друге и всеми силами борются за университетское образование, за народные традиции в Российской Академии Наук, несущей в себе вредные влияния иноземных ученых. Нельзя без волнения читать те места «Автобиографических записок», где рассказывается о борьбе Сеченова за создание нормальных условий для научной работы Мечникову или о том, как изгнанного из Петербургского университета Сеченова приютил в своей химической лаборатории Д. И. Менделеев. Спокойно и с полным достоинством Сеченов излагает историю своих взаимоотношений с Петербургской Академией Наук.

Известно, что великий физиолог, из-за происков царских чиновников не был избран в состав действительных членов Академии Наук. Названный выше сборник «Борьба за науку в царской России» под редакцией С. Я. Штрайха, а также ряд важных архивных материалов, опубликованных в «Физиологическом журнале СССР» проф. К. Х. Кекчеевым и Шустиным, и наша монография «Сеченов» дают весь тот фактический материал, который не мог привести И. М. Сеченов и который дает всю историю позорного поведения царских чиновников по отношению к Сеченову.

Особенная ценность «Автобиографических записок» в том, что они дают яркое изложение основных этапов развития русской науки, и в первую очередь картину того, как складывалась ученая карьера самого Ивана Михайловича. С большой любовью Сеченов пишет о своих русских и иностранных учителях. Среди последних — Иоганнес Мюллер, Гельмгольц, Дюбуа-Реймон, Карл Людвиг и Клод Бернар. Сеченов был не только учеником этих великих естествоиспытателей, но и самостоятельным ученым, быстро заслужившим их уважение. Авторитет, добытый огромным трудом и блестящим талантом молодого русского ученого, имел исключительное значение.

Сеченов вспоминает, как уже на первой лекции Дюбуа-Реймон встретил своих русских учеников совершенно нелюбезным рассуждением о том, что длинноголовая раса немцев значительно более талантлива, чем малоспособная раса круглоголовых людей, т. е. русских. Сеченов и его друзья — знаменитые русские естествоиспытатели XIX в. — на деле показали, на что способны русские люди, заложившие прочные основы новых отраслей науки в самых различных ее разделах. В наши дни, когда фашистские изуверы утверждают, что русский народ не способен на самостоятельное научное творчество, эти места «Автобиографических записок» приобретают исключительное значение, так как доказывают самостоятельность научных исследований русских людей, в то же время хорошо осведомленных о состоянии науки XIX в. в Германии, Франции и Англии.

В исключительно живой форме изложены в «Автобиографических записках» основные факты жизни Сеченова в период его научных исканий и формирования его гениальных произведений. Особенно подробно Сеченов останавливается на обстановке возникновения и формирования его книги «Рефлексы головного мозга». В нашей вступительной статье к академическому изданию этой замечательной книги (1942) мы подробно останавливаемся на фактах, не освещенных в «Автобиографических записках»; в частности, мы приводим архивные документы о бешеной травле этой книги и ее автора со стороны клерикальных кругов и царской полиции. Очень обстоятельно рассказано об условиях работы Сеченова над физико-химическими проблемами — этой наименее освещенной стороне его научной деятельности, а также об условиях возникновения и развития его интересов в области физиологии труда человека и высотных полетов. Благодаря «Автобиографическим запискам» нам удалось установить исключительную роль Сеченова в формировании новой области физиологии — физиологии летного дела.

В «Автобиографических записках» даны зарисовки не только представителей профессуры, но и общественных деятелей. Острыми карикатурными мазками Сеченов дает портреты встречавшихся на его пути царских чиновников, министров и аристократов. С чувством гордости читаешь строки, в которых описывается встреча великого русского ученого с царским сановником с немецкой фамилией. Сеченов приводит свой полный достоинства ответ на сделанное этим сановником замечание, что Сеченов напрасно написал «Рефлексы головного мозга». «Но ведь надо иметь мужество выражать свое мнение», — ответил Сеченов. С уважением и любовью вспоминает Сеченов имена многих передовых деятелей русской культуры, в том числе художника А. Иванова, И. С. Тургенева и других. В Пушкинском доме Академии Наук СССР обнаружены замечательные письма Сеченова к художнику Иванову, показывающие, насколько тесно были связаны эти выдающиеся русские люди, как глубоко они переживали судьбы русской культуры: в частности уже в 50-х годах Сеченов пишет о немецком засилье в русских университетах, восставая против него.

В «Автобиографических записках» содержится интереснейший материал об одной из ярких страниц общественной деятельности Сеченова, именно о его участии в женском движении и в движении за рабочее образование. Глубокого трагизма полны последние строки «Автобиографических записок», в которых прославленный мировой ученый пишет о том, как его отстранили от преподавания на Пречистенских рабочих курсах царские чиновники. «Так кончилась моя преподавательская деятельность» — последние слова «Автобиографических записок», следующие за полным текстом предписания отстранить Сеченова от преподавания на рабочих курсах.

В суровые ноябрьские дни 1941 г., когда озверелая фашистская орда протягивала свои окровавленные лапы к сердцу и мозгу Советского Союза — священному русскому городу Москве, по всей стране пронеслась проникнутая непреклонной уверенностью в победе речь товарища Сталина. И в этой речи, полной гордости за прошлое русского народа и за благородную миссию, выпавшую на долю наших народов, — освободить мир от фашистских варваров, — товарищ Сталин назвал такие русские имена, которые наполняют сердца народов Советского Союза непередаваемым чувством национальной гордости и глубокого презрения к тем, кто посмел поднять руку на бессмертную культуру, созданную сынами Советского Союза. Среди этих имен ярко сияет имя Ивана Михайловича Сеченова — одного из величайших физиологов нового времени, смелого новатора науки, дерзнувшего раскрыть величайшую тайну природы — тайну психических явлений.

Исключительно ярко выразил заслуги И. М. Сеченова и созданной им русской физиологической школы великий преемник Сеченова — И. П. Павлов. Он писал «Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем и полком моих дорогих сотрудников мы приобрели для могучей власти физиологического исследования вместо половинчатого весь нераздельно животный организм. И это — целиком наша русская неоспоримая заслуга в мировой науке, в общей человеческой мысли».

Настоящее первое советское издание «Автобиографических записок» сверено с оригиналом сохранившейся рукописи И. М. Сеченова. Этот труд был выполнен проф. О. П. Молчановой и, благодаря этому, настоящее издание в отличие от первого (1907 г.), является полностью соответствующим рукописи и дополнено интересным отрывком (стр. 122), отсутствовавшим в первом издании 1907 года.

Х. Коштоянц

Д Е Т С Т В О

(1829—1843)

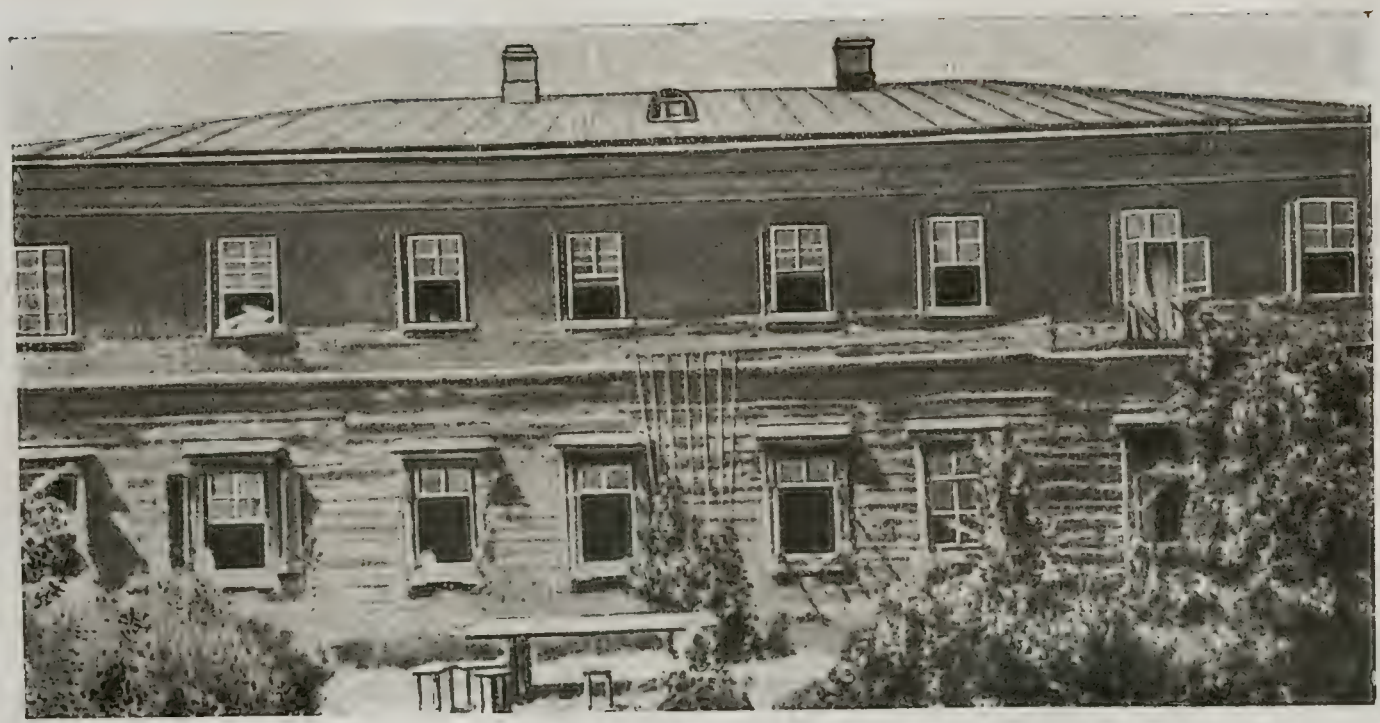
Дед наш, дворянин Костромской губернии, Алексей Иванович Сеченов, хотя и был зажиточный помещик, но детей учил на медные гроши, а сыновей, по господствовавшему в екатерининские времена обычаю, записывал в ранней юности в гвардейские полки. Таким образом отец мой Михаил Алексеевич, младший из сыновей, был сержантом в Преображенском полку, служил при Матушке-Екатерине и дослужился до чина секунд-майора. В детстве мне случалось видеть бумагу (вероятно, указ об отставке отца) с размашистой подписью «Екатерина», которую отец целовал каждый раз, как бумага попадала ему в руки. По смерти Алексея Ивановича он получил в наследство небольшое имение в Костромской губернии и значительно большее в Симбирской губ., Курмышского уезда, почти на границе Нижегородской губ., купленное некогда митрополитом Димитрием Сеченовым (вероятно, во время его епископства в Нижнем) и переданное им в род. Здесь отец мой и поселился, выйдя в отставку, на удобную при крепостном праве жизнь российского помещика, и здесь же (в с. Теплом Стане) народилась вся семья его детей: 5 братьев и 3 сестры. Я самый младший в семье. Переселение отца из Костромской губернии в Симбирскую произошло, сколько я понимаю, по той причине, что он был лошадиный охотник и хлебное черноземное симбирское поместье давало ему возможность устроить небольшой конский завод, что было бы в Костромском имении невозможно. Как бы то ни было, но всю свою долголетнюю жизнь в деревне он интересовался одним только конским заводом, в поля не заглядывал, от коронной службы уклонялся, по дворянским выборам не служил и даже ни разу не съездил в Симбирск на дворянские выборы. Личных воспоминаний об отце у меня сохранилось очень мало — одни лишь чисто внешние отрывочные черты, потому что он умер, когда мне было 10 лет. Помню его седым стариком, в его ежедневном домашнем костюме (мягкие сапоги, черные плисовые штаны и фуфайка вроде куртки) и в венгерке по праздникам, с трубкой в зубах (помню даже мундштук его чубука); помню, как он ежедневно, после утреннего чая, ходил на конный двор и собственноручно из

ларя отмеривал лошадям овес гарнцами, а затем смотрел, как выводили лошадей на водопой; помню, что еще при его жизни я выучился играть на биллиарде и немилосердно обыгрывал отца, очень плохого игрока, когда ему случалось играть со мной от скуки.[1] На нас, детей, он мало обращал внимания; по крайней мере, я не помню ни единого случая, когда бы он приласкал меня или которую-нибудь из сестер. Но, с другой стороны, не помню также и случаев, чтобы он на нас сердился или кого-нибудь наказывал. Не имея образования, он, однако, сознавал его важность и внушал нам, детям, что мы должны относиться к своим учителям и учительницам, как к своим благодетелям. Гувернантка в нашем доме была равноправным членом семьи, за обедом сидела на почетном месте и называла старика-отца папенькой. Впоследствии я узнал из рассказов, что он отличался бескорыстием и большой честностью; крестьян не притеснял; погорельцам строил избы; в неурожаи раздавал хлеб; но вместе с этим не брезговал пользоваться, помимо барщины, заведенным в тех местах порядком брать ежегодно от мужиков по барану с тягла, а с крестьянок — известное количество пряжи. Жил он неприхотливо и крайне дешево «на всем своем» — последнее благодаря тому, что держал большую дворню, в состав которой, помимо поваров, конюхов и скотников, входили два ткача, двое портных, один сапожник, печник, парикмахер, столяр и даже мастер жестяных изделий. Пока все еще дети были малы, он, при его умеренном образе жизни, был настолько богат, что выстроил в селе почти исключительно на свои деньги большую каменную церковь и двухэтажный деревянный дом в 20 комнат, с небольшим садом по заднему фасаду.

Моя милая, добрая, умная мать была красивая в молодости крестьянка, хотя в ее крови, по преданию, была через прабабку примесь калмыцкой крови.[2] Перед женитьбой отец отправил ее в какой-то женский Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям. Поэтому в детстве я ее помню ничем не отличающейся с виду от соседних пожилых помещиц, относившихся к ней, из-за ее милого, кроткого нрава, с большой любовью. На ее руках была обычная половина домового хозяйства; но в семье, при жизни отца, голос ее слышался очень редко. К тому же и она не была ласкова к детям; поэтому я узнал ее и полюбил уже в зрелом возрасте, когда по выходе в отставку из военной службы прожил более полугода у нее в деревне. В детстве же, больше отца и матери, я любил мою милую няньку «Настеньку», которую по ее летам и

[1] Дело в том, что в эти годы все старшие братья были уже вне дома и в деревне оставались со стариками только сестры да я.

[2] Из всех братьев я вышел в черную родню матери и от нее же получил тот облик, благодаря которому Мечников, возвратясь из путешествия по Ногайской степи, говорил мне, что в этих палестинах, что ни татарин — вылитый Иван Михайлович.



ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ И. М. СЕЧЕНОВ

(«Теплый Стан» Горьковской области)

положению в доме вся прислуга величала полным именем Настасьи Яковлевны. Она меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла, вероятно, больше всего сказками, на которые была большая мастерица. Ложась спать, я из-за сказок нередко переселялся к ней на постель, и когда случалось, что мешал ей спать, требуя повторения рассказов, она — это она рассказывала мне сама, когда я был отставным офицером — начинала сказку о том, как некий царь, задумав выстроить костяной дворец, велел со всего царства собрать кости и положить их для размочки в воду. С этими словами она умолкала, а когда я спрашивал, что же дальше, то получал в ответ: «рассказывать, батюшка, нечего — кости еще мокнут, не размокли», чем я, по ее словам, и удовлетворялся.

Семья наша, по возрастам детей, распалась на три группы. Два старших брата и старшая сестра, погодки (Алексей, Александр и Анна), выбыли из семьи, когда я еще не родился, и учились в Ярославле. Братья кончили курс в Демидовском лицее, а сестра в пансионе. Братьев отец, как военный человек и лошадиный охотник, пустил в гусары; а сестру, по окончании ученья, вернул домой, где она и стала обучать третью группу, двух меньших сестер (Варвару и Серафиму) и меня, грамоте. В это время два средних брата (Рафаил и Андрей) учились вне дома, в нашем уездном городе и оттуда поступили в Казанскую гимназию. Таким образом все свое детство я рос в деревне товарищем двух младших сестер. При жизни отца была речь о том, чтобы и меня отдать в Казанскую гимназию; но по его кончине мать почему-то удержала меня до 12 лет дома (вероятно, рассчитывая приготовить меня дома не в самый низший класс); а в это время старший брат, гусар, уже офицер, познакомился в Москве с семейством, членом которого был инженер, и, узнав из его рассказов о выгодах инженерной службы и дешевизне образования, получаемого в Главном инженерном училище,[1] настоял у матери, чтобы меня отдали туда. Благодаря этому я продолжал учиться в деревне до 14-го года. Обстоятельство это имело очень важное значение для моей будущности — из всех братьев я один выучился в детстве иностранным языкам. Дело в том, что родители не считали нужным обучать им дома мальчиков, полагая, что они научатся языкам в школе; а для девочек считали такое обучение необходимым. С этой целью в доме нашем, за год до смерти отца, появилась, ради сестер, смолянка, Вильгельмина Константиновна Штром, знавшая французский и немецкий языки; и меня, уже кстати, в придачу к сестрам, отдали ей на руки.

[1] В те времена плата за все содержание воспитанников, вместе с учением в течение 4 лет, состояла из единовременного взноса 285 руб., причем воспитанник, при выходе в офицеры получал даром всю обмундировку, за исключением сюртука и шпели.

До приезда гувернантки и некоторое время после ее приезда меня обучал закону божию, арифметике, русскому и латинскому языкам молодой священник из соседнего села Атяшева, отличавшийся, однако, не столько потребными для учительства знаниями, сколько приятной внешностью, веселым нравом и уменьем держать себя в дворянском обществе. Насколько могу припомнить его уроки, знания его в арифметике не заходили за пределы 4-х начальных действий, а в латыни учителем моим был не он, а латинская грамматика Кошанского, так как вся моя задача заключалась в заучивании преподанных в ней правил склонения и спряжения по указанию учителя: «от сих до сих». Наоборот, учение языкам у Вильгельмины Константиновны шло очень удачно благодаря тому, что именно грамматика была на заднем плане. Классные занятия по языкам заключались в том, что мы ежедневно заучивали по одному глаголу, списывая его с книги (разумеется, после того, как были проделаны avoir, être hab n .n sein); затем делали маленькие переводы с иностранного языка на русский и наоборот. Кроме того, с первого же года она заставляла нас говорить и вне класса не иначе как на иностранных диалектах. Это я помню по следующему случаю: из заучивания спряжений я узнал, что давнопрошедшему времени во французском языке соответствует plusqueparfait; поэтому на какой-то вопрос Вильгельмины Константиновны, требовавший от меня по смыслу слова «давно», я ответил сначала к удивлению ее, а потом, когда дело выяснилось, к веселому смеху, словом «plusque». Как бы то ни было, но Вильгельмина Константиновна оказала мне истинное благодеяние, научив меня обоим языкам настолько, что я не забыл их за время пребывания в инженерном училище (где обучение языкам было неважно) и мог пользоваться этими знаниями во время студенчества.[1]

Учился я, должно быть, легко, потому что меня часто отпускали из класса раньше сестер и никогда не наказывали, тогда как сестра Серафима сиживала нередко (по обычаю, вынесенному Вильгельминой Константиновной из Смольного) в бумажном колпаке с надписью «за леность».

К чтению у меня с детства была большая охота, но книг для детского чтения в то время и в помине не было. Помню только Конька-Горбунка (почему-то в рукописи), сокращенного Робинзона с картинками и какое-то иллюстрированное издание священной истории, которое мы с сестрой Серафимой иллюстрировали с своей стороны, покрывая лица святых красной краской, а лица библейских грешников и злодеев зеленой. Не могу не вспомнить по этому поводу, что иногда Настенька делала мне из своей косы рисовальные кисточки. Позднее, вероятно под влиянием одного из старших братьев, Александра, скудная библиотека Теплого Стана стала пополняться. Он был

[1] Незнание языков у большинства наших студентов представляет большое зло. Пора бы положить ему конец, изменив способ обучению языкам в средних учебных заведениях.

большой поклонник Марлинского, перешел, вероятно, поэтому тотчас по смерти отца из гусаров на Кавказ линейным казаком и считался в семье чуть не литератором, потому что посылал с Кавказа письма с литературным пошибом. Как бы то ни было, но у нас завелся Пушкин, Жуковский, Марлинский, Загоскин и Лажечников. Вероятно под влиянием разговоров в семье, любимым автором моим был Марлинский, и его я прочитал от доски до доски. Знаю наверное, что читал все повести Пушкина, знал почти наизусть одну из его сказок, читал Руслана и Евгения Онегина (издание с картинками); но стихами не восхищался и, должно быть, предпочитал Пушкину Юрия Милославского, Ледяной дом и Новика. Читалось все без руководства и указаний литературно образованного человека; поэтому перлами создания казались мне такие вещи, где героями являлись лица, совершившие какие-либо подвиги. Моими детскими любимцами были Аммалат-Бек, Мулла-Нур Марлинского и запорожец Кирша в Юрии Милославском. Впрочем, вкус к таким героям сохранился у меня и в более зрелом возрасте, когда я познакомился с Вальтер-Скоттом и Купером. Гоголя у нас в деревне не было; но его Мертвые души мне удалось слышать вскоре по их выходе в свет в чтении большого приятеля нашего дома, курмышского судьи Павла Ильича Скоробогатова. Он славился умением читать и, очевидно любил читать в обществе. По крайней мере, каждый раз, что он приезжал к нам, его упрашивали прочитать что-нибудь новое, и он охотно делал это, привозя иногда даже с собою литературные новости. Таким образом в один из его приездов и были прочитаны им Мертвые души.

Мальчик я был очень некрасивый, черный, вихрастый и сильно изуродованный оспой;[1] но был, должно быть, не глуп, очень весел и обладал искусством подражать походкам и голосам,[2] чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам мальчиков не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами; поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень.

Из знакомых всего ближе стояла к нам семья Бориса Сергеевича Пазухина: он — вдовец, две его дочки и воспитавшая их, вместо матери, сестра его Прасковья Сергеевна. Он был, сколько я знаю, единственный друг моего отца в тех краях; много моложе его, но пережил отца едва ли больше чем на один год. Видал я его редко, потому что он жил с семьей в 60 верстах от нас и наезжал в наши края один раз

[1] Родители, должно быть, не успели привить мне оспу. Она напала на меня на первом году и изуродовала меня одного из всей семьи.

[2] Эти заученные в раннем детстве походки и голоса сохранились во мне до сих пор, до 75 лет. Я мог бы воспроизвести их и теперь.

в год, в начале ноября, к именинам отца, и поселялся тогда с своей семьей на некоторое время в соседнем с Теплым Станом именье его сестер, чтобы полевать с борзыми в наших унылых степных палестинах.[1] В это время он и бывал нашим гостем. Помню я его очень смутно и знаю только из рассказов родных, что это был из ряда вон добрый человек, едва ли не наиболее образованный из курмышских помещиков; не держал ни дворни, ни придворных кружевниц и вышивальщиц; не пользовался ни поборами с своих подданных, ни карательными прерогативами помещичьей власти. Говорили, что он настолько приручил меня к себе лаской, что перед ним я охотно выкладывал все мое искусство подражания, и он много смеялся, когда я передразнивал походку и говор его брата Александра Сергеевича. По его смерти Прасковья Сергеевна переехала с обеими своими племянницами на постоянное жительство в свое именье, в двух верстах от Теплого Стана, и свидания обеих семей стали очень часты. Младшая племянница, Катя, была в отца — пылкая, веселая, искренняя, немного насмешливая, но очень добрая и такая же верная в дружбе, как ее отец. Она до конца жизни оставалась самым близким другом нашей семьи. Была она года на 4 старше меня, с виду уже совсем взрослая барышня, с милым и живым лицом. Относилась ко мне, может быть памятуя отца, очень ласково; была притом единственной барышней, которую я видел часто, и я в нее влюбился. Вероятно, сознавал однако, что страсть моя покажется смешной и предмету, и окружающим; поэтому я сумел скрыть ее даже от сестер вплоть до отъезда из деревни в Петербург. Иначе я был бы, конечно, осмеян сестрой моей Варенькой, которая вообще любила поддразнивать меня и проходиться насчет моей красоты. Насколько сильно было это чувство, я не помню; не помню также никаких особенных эпизодов этой любви; не помню даже хорошенько лица и фигуры Кати; но чувствую и в настоящую минуту, что будь она жива, она была бы для меня одним из самых дорогих существ на свете, более дорогим, чем второй предмет моей, уже не детской, любви.

Нельзя также не помянуть добрым словом семьи Филатовых,

---

[1] Как ни бедна Россия живописными видами, но местность, где я провел детство, принадлежит, я думаю, к наименее живописным. — Черная, почти как уголь, земля, изрезанная в пологих впадинах оврагами, без единого деревца или ручейка на версты, с единственным украшением редких рощей, виднеющихся на горизонте в виде темных четырехугольников. Эта часть Курмышского уезда густо заселена татарами и мордвой. Приходом к нашей церкви была мордовская деревня Мамлейка; и в те времена я имел случай видеть в церкви мордовок в их национальных костюмах: белая длинная рубашка, выложенная на груди красным шнурком, бахромистый пояс под брюхо; ожерелье из белых ракушек и очень уродливый головной убор, в виде наклоненного вперед полуцилиндра с подвешенными к его основанию пробуравленными серебряными пятачками. Теперь тамошняя мордва слилась с русскими до неузнаваемости.

с некоторыми членами которой мне приходилось встречаться дружески всю жизнь до самого последнего времени.

Одна половина Теплого Стана принадлежала моему отцу, а другая более богатому, чем он, и более старому годами родоначальнику Филатовского рода Михаилу Федоровичу. Меньшой сын его Николай был всего на год старше меня, и мы могли бы быть, по близкому соседству, товарищами детства; но наши старики были, должно быть, в контрах; и пока жив был мой отец, семьи наши не водили знакомства друг с другом; а в годы после его смерти Николая Филатова уже не было в деревне — он учился где-то вне дома, и мы встретились с ним товарищами уже в инженерном училище. Старик Филатов был садовод и пчеловод; полевым хозяйством совсем не занимался; всю весну и лето жил в саду и на пчельнике (на осень и зиму вся семья переезжала в именье Пензенской губернии); в гости никуда не ездил; в церковь, несмотря на крайнюю набожность женской половины своей семьи, никогда не ходил; и по этой ли причине или потому что управлявший именьем приказчик из дворовых был крут с подчиненными, крестьяне его недолюбливали и подчас считали чуть ли не колдуном, потому что в холеру 48-го года (это я знаю от родных) в народе ходил слух, что ее навеял на Теплый Стан старик Филатов: его будто бы перед ее появлением видели, как он намахивал болезнь на село руками. Познакомился я с ним, будучи уже отставным офицером, когда он от старости начинал уже приходить в детство и, вероятно, стал смешивать воображаемое с действительностью, потому что, оставаясь умным человеком, рассказывал серьезно невероятные небылицы. Интересовавшегося его пчелами соседа он уверял, например, что раз у него отроился такой огромный рой, что, привившись к стоявшей перед садовым балконом черемухе, пригнул ее ветви к земле. Садом своим он справедливо гордился; сад был действительно чудесный; но больным местом в этом саду был небольшой, почти заросший камышом пруд, в котором могли водиться много-много караси и лягушки, а, по его словам, водились прежде сазаны чуть не в аршин. В гостиной на стенах висели две-три старые, потемневшие от времени картины, и любопытствующим сообщалось, что это было дело его рук, тогда как всем было доподлинно известно, что живописью он никогда не занимался. Узнавши, что я имею намерение изучать медицину, он рассказывал мне, что сам шел по французскому и немецкому факультету (его собственные слова) и вздумал было изучать медицину; но не мог вынести вида трупов, за что был будто бы посажен в «канцыр», так как начальство думало, что он притворяется. Помимо этих странностей, Филатов был очень умный старик, рассуждавший очень здраво о текущих событиях и лицах, относившийся не без иронии к властям и вместе с тем очень приветливый и галантерейный с дамами хозяин. Много позднее я узнал и очень полюбил одного из его сыновей

Петра Михайловича, крайне умного человека, из которого могло бы выйти много хорошего, если бы его не засосала деревня. Очень люблю и уважаю живущую по сие время, некогда пылкую и самоотверженную дочь его Наталью Михайловну, воспитавшую племянника своего Нила Федоровича Филатова, одного из лучших профессоров Московского университета, к сожалению так рано умершего. Близок, наконец, с семьей одного из его внуков Николая Александровича Крылова, о которой будет речь много дальше.

На свете рядом с добром всегда живет зло; и рядом с описанными добрыми людьми, в 7 верстах от Теплого Стана жила бездетная вдовая старуха А. П. П., бывшая в молодости, по ее собственным словам, большим аспидом. В мое детство она была, впрочем, в периоде замаливания грехов; и я ясно помню, с какими горючими слезами она молилась по воскресеньям в нашей церкви, куда была прихожанкой. Предание говорит, что, сокрушаясь о грехах и своей неисправимости, она пыталась было извести себя, но выбрала, как оказалось, не совсем подходящее средство. Думая, что человек живет хлебом и что без хлеба вредна всякая вообще пища, особенно же жирная, она вздумала уморить себя едой без хлеба; но не уморила, а растолстела и, видя в этом наказание божие за грех задуманного самоубийства, смирилась и стала замаливать грехи молитвой и добрыми делами. С этой целью она воспитала прежде всего дочь, приходившегося ей как-то сродни священника, выдала ее замуж за Павла Ильича Скоробогатова, а по ее смерти воспитывала трех сыновей от этого брака. Замаливая таким образом грехи молодости, она не считала однако грехом держать в ежовых рукавицах всех своих подданных, в особенности же сенных девушек. Надсмотрщицей за ними у нее была экономка Екатерина Петровна Барткевич, вооруженная на сей предмет плеткой, не злая в сущности женщина, но неукоснительно наблюдавшая за порядками, заведенными ее благотворительницей в девичьей. А к числу таких порядков относилось между прочим следующее правило: как только замечали, что которая-нибудь из девушек, не будучи замужем, обещала быть матерью, ей стригли волосы, одевали в белое посконное платье и ссылали на скотный двор. Мужскому полу тоже не было спуска, благо стан и становой пристав были под рукой. Как могли уживаться в одном и том же человеке такое отношение к подчиненным и истинное сокрушение о грехах, понять в наше время очень трудно; но в те времена такое уживание никого не коробило — А. П. считали самовластной, подчас до самодурства, но вместе с тем истинной христианкой.[1] Старики наши водили с ней дружбу; она была даже

[1] Не могу не вспомнить по этому поводу моей двоюродной сестры, Анны Дмитриевны Тухачевской, которую я время от времени посещал в Москве в 50-х годах, будучи студентом. Это была пожилая и настолько

крестной матерью моей старшей сестры и в мое детство обедала у нас чуть не каждое воскресенье, отстояв обедню в нашей церкви.

Не знаю, по какой причине, в мое детство у нее в доме жила и считалась ее воспитанницей старшая дочь ее родственника, ардатовского помещика В. Г. Е., девочка на год или два моложе меня. В юношах Скоробогатовых бог послал А. П. смиренников, кротко переносивших ее самовластные причуды; а в этой воспитаннице она обрела зелье, каким, вероятно, сама была в молодости. Достоверно известно, что девочкой 10 лет она потешалась тем, что откручивала индейкам головы. От озорства ее терпела всего более экономка Барткевич, и сведения о ее подвигах шли от этой особы; да и бабушке от нее доставалось не мало. Кротких, покорных Скоробогатовых старуха донимала наставлениями, требованиями и выговорами; а перед девчонкой в конце концов смирилась, считая ее ниспосланным ей испытанием. Озорничала эта интересная особа, по рассказам самой А. П., до конца их совместной жизни, уже взрослой девицей, перед тем как итти под венец. Стали ее одевать в венчальное платье — и вдруг она объявляет, к ужасу устроившей эту свадьбу А. П., что итти за жениха бабушки она не хочет, хотя дала ему согласие без всякого принуждения. Разумеется, упрашивания, мольбы и слезы со стороны бабушки. Уступила, пришла в церковь, начался обряд, и когда священник подошел к ней с вопросом, берет ли она мужа свободно, невеста, не отвечая священнику, оборачивает голову в сторону бабушки и смотрит на нее с вызывающей улыбкой. Ту бросило в холод, прежде чем она ответила «да». Доходили соответственные слухи и об ее отношениях к супругу, но я боюсь повторять эти непроверенные рассказы, хотя доверять им оснований не мало. Озорничество она наследовала от своего папеньки, который вел буйную жизнь, водил дружбу с татарами и цыганами, подозревался в конокрадстве и был исключен дворянами Ардатовского уезда из их среды. Да и со стороны ее родной бабушки по матери (не А. П., а Ст. Ф. Б.) была неважная кровь. Бабушка эта продавала семьи своих подданных врозь и вывозила, говорят, на продажу девушек в Нижний на ярмарку.

Была, наконец, в 30 верстах от нас и такая особа (Ф. Г. З.), которая довела своих подданных до того, что ее удушили.

Да, это было время отживших свой век в наших захолустьях современников Каратаева.

Закончу свои детские воспоминания описанием следующего эпизода, которому был очевидцем. Осенью, в молотьбу, одному

благочестивая дама, что жила в Никитском монастыре, нанимая там квартиру. Она была неукоснительно убеждена в том, что мы, дворяне, происходим от Иафета, а крепостные — от Хама.

нашему крестьянину Петру Бузино попало в ухо ячменное зерно и застряло в ушном проходе, должно быть поперек, так глубоко, что после тщетных домашних усилий он обратился за помощью к случившемуся у нас как раз в это время курмышскому уездному врачу Николаю Васильевичу Доброхотову. Набора с собою у доктора не было, и, по его указанию, наш жестянник согнул ему из печной проволоки щипчики с плоско расплющенными концами. Как ни старался бедный доктор вытащить зерно таким инструментом, но, конечно, не мог и придумал следующее: свернул бумажную ленту в трубку, один конец ее вставил пациенту в ухо, а другой зажег.

Предоставляю судить читателю, насколько процветала в те времена хирургическая помощь в нашем уезде; но не могу не прибавить, что бедному Борису Сергеевичу Пазухину пришлось умереть без нее в страшных мучениях от камня в пузыре.

★

В 1843 г. старший брат был в образцовом полку в Павловске и, вероятно, заранее списался с матерью, что нашел военного инженера, взявшегося приготовить меня в полгода к поступлению в инженерное училище за 1800 р. ассигнациями. Поэтому в начале 43-го года я был отправлен в Петербург вместе с нашей гувернанткой В. К. — она к своей матери, а я к капитану Костомарову на полгода невыразимо однообразной, скучной, серенькой жизни. Дело в том, что учеников кроме меня у моего нового наставника не было; человек он был не экспансивный — за все время учения я не слышал от него ни единого ласкового слова, но и ни единого выговора — и бóльшую часть дня он был вне дома, оставляя меня в обществе денщика и его супруги на безвыходное сиденье или в маленькой отведенной мне на жительство комнате, или в салоне денщика — кухне, так как при уходе капитан запирал все комнаты кроме этих двух и соединявшего их коридора. Трудно поверить, что в течение всего полугода (исключая воскресенье и праздник) я выходил на улицу только раз в неделю, вечером, в соседнюю баню; и один только раз он сводил меня сам на Невский к Доминику и угостил там растегаем. День наш начинался в столовой чаем, за которым мы оба сидели бóльшей частью молча; затем он давал в течение часа урок из арифметики, которую я у него действительно постиг. После этого он уходил на службу; а меня в полдень кормили завтраком, где очень часто существенную роль играл плохенький сыр Мещерского — вероятно, фирма эта только что начинала тогда свою деятельность и не умела готовить лучшего; или может быть... В 3 часа мы садились с капитаном за обед — стряпню жены денщика. Каковы были обеды, не помню; но из них я вынес впечатление, что патрон мой постоянно страдал отсутствием аппетита, потому что еле притрагивался к кушаньям.

После обеда он удалялся в свой кабинет, куда я ни разу вхож не был, а часов в 5 уходил до вечернего чая, служившего нам ужином. В 9 часов из стоявшего в моей комнате шкафа-кровати выдвигалась постель, и что происходило затем в доме — не знаю. Верно одно: гостей у капитана не бывало ни днем ни вечером, и мое лежание в постели всегда окружала невозмутимая тишина. Два или три раза в неделю приходил, якобы учить меня русскому и французскому языкам (немецкий, вероятно, не требовался для поступления в училище), молодой подпоручик, кораблестроительный инженер с отвратительным французским выговором. Обучение заключалось в том, что он диктовал из книги и поправлял ошибки да давал по временам заучивать стихи. В памяти из его уроков у меня остались только: весь «Мельник» Пушкина, отрывок из «Ермака» Рылеева:

Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой.
От вопля их дубравы воют,
Они стопами землю роют.
. . . . . .
. . . . . .
То сей то оный на бок гнется,
Крутятся... и Ермак сломил.
Теперь ты мой, он возопил,
И все отныне мне подвластно.

и отрывок из Пушкинского перевода стихов Мицкевича: «Три у Будрыса сына»:

Нет на свете царицы краше польской девицы:
Весела — что котенок у печки
И как роза румяна, а бела — что сметана;
Очи светятся, будто две свечки.

Изучение грамматики, истории и географии по принятым тогда для поступления в училище учебникам предоставлялось моему собственному усмотрению, с какой целью учебники эти всегда находились в моей комнате. Пользовался ли я, однако, ими, меня не спрашивали.

Не менее странен был и вступительный экзамен в училище. Происходил он в начале августа и длился, кажется, всего один день. Ясно помню, что лично для меня экзамен состоял в решении задач (рядом со мной сидел мальчик, желавший, чтобы я ему помог) и в письменных ответах по русскому и французскому языкам, причем меня спросили, умею ли я говорить по-французски. Из истории же и географии никакого экзамена мне не было. Возможно, что аспирантам, приготовлявшимся к

поступлению в существовавших тогда приготовительных пансионах, содержимых инженерами,[1] делались при экзамене льготы; но возможно и то, что знаниям по истории и географии не придавалось значения, потому что географии в училище нас обучали два года, а истории — три.

Замечательно, что на душе у меня не было никакого неприязненного чувства к капитану Костомарову. На жизнь у него я не жаловался ни брату, ни моей прежней гувернантке, в семью которой ходил по воскресеньям и праздникам не только в эти полгода, но и во все время пребывания в инженерном училище, так как других знакомых, кроме этой семьи, в Петербурге у меня не было. Не зная городских нравов и не живя до тех пор между чужими, я думал, должно быть, что иной формы существования на чужбине и быть не может.

Семья Вильгельмины Константиновны состояла из ее младшей сестры Олимпиады, уже взрослой девицы, и прелестнейшей старушки-матери, Эмилии Адольфовны, немки из Франкфурта-на-Одере, плохо говорившей даже по-русски и жившей на маленькую пенсию покойного мужа (эстляндца или лифляндца, капитана русской службы) и частную пенсию от графа Адлерберга, министра двора. Нет сомнения, что мать платила им и за меня, потому что они возили меня в театр, давали денег на извозчиков и позднее, когда я выучился курить, на табак.[2] В год после смерти отца Эмилия Адольфовна приезжала к нам в деревню повидаться с дочерью; следовательно, с двумя старшими членами семьи я был знаком с давних пор и, при их крайней доброте, чувствовал себя в этой милой семье, как дома. В праздники и по воскресеньям кроме меня к ним ходили два кадета 2-го корпуса, братья Михайловские. Старший из них Николай Андреевич, будущий муж моей старшей сестры, был тогда на выпуске и учился так хорошо, что вышел офицером в гвардию, в Финляндский полк. Будучи еще кадетом, он интересовался литературой — у них в корпусе, по его словам, был превосходный преподаватель словесности. Поэтому в праздники и по воскресеньям в маленькой гостиной семьи Штром очень часто происходили чтения вслух и разговоры по поводу прочитанного. Здесь я познакомился с русской литературой гораздо больше, чем в инженерном училище, где преподавателем словесности был старик Плаксин, не признававший Гоголя и ставивший выше всех Державина и Крылова. Оду «Бог» он считал «орлиным парением гения на недосягаемые

---

[1] Кроме Костомарова, держали пансионы еще два офицера, служившие в инженерном училище, Скалон и Клейгельс (кажется, отец знаменитого впоследствии петербургского градоначальника, отличившегося сугубым рвением к порядку и вооружившего на сей конец, без воли начальства, полицию казацкими нагайками, — за что и был, вероятно, почтен киевским генерал-губернаторством).

[2] Вплоть до выхода в офицеры денег у меня в кармане никогда не было ни копейки.

высоты»; начальные строфы оды «Водопад» были недосягаемым ни для кого совершенством в деле описания красот природы, а слова «Глагол времен, металла звон» и проч. приводили его словно в трепет, и эту оду он декламировал каким-то глухим, словно замогильным голосом. Когда же дело доходило до Крылова, он претворялся то в сладкозвучного соловья (Осел и соловей), то в хитроумную льстивую лисицу (Ворона и лисица). Это были два других перла русского гения. Для скромной семьи Штром, не имевшей никаких знакомых, кроме нас, трех мальчиков, воскресенья и праздники были, очевидно, праздничными днями. Эмилия Адольфовна самолично отправлялась тогда с кульком на Сенную за провизией, сама стряпала, и ее вкусные обеды, суп с фрикадельками, пирог с сигом и жареные рябчики, не в укор будь сказано костомаровским обедам, я не забыл и вспоминаю по сие время с большим удовольствием.

В ИНЖЕНЕРНОМ УЧИЛИЩЕ
(1843—1848)

Школу военных инженеров, под именем Главного инженерного училища, составляли 4 класса младших воспитанников, называвшихся *кондукторами,* и 2 офицерских класса. Учение в кондукторских продолжалось 4 года, и затем воспитанники производились в офицеры, с переходом в нижний офицерский класс. Кондукторов полагалось по штату всего 125 человек, и они образовывали так называемую *кондукторскую роту,* с ротным командиром (полковником) во главе и его 5 или 6 помощниками (обыкновенно из саперных офицеров) в роли надзирателей (не воспитателей, как в тогдашних кадетских корпусах), дежуривших по очереди. При поступлении в училище (не моложе 14 лет) мы тотчас же присягали и считались по закону юнкерами, состоящими на государственной службе; поэтому были избавлены от практиковавшихся тогда в кадетских корпусах телесных наказаний. Но помимо этого весь внешний военный режим был тот же, что в корпусах; первые два года воспитанники считались рядовыми; на 3-й год отличавшихся поведением и фронтовыми успехами награждали чином ефрейтора, с соответствующей нашивкой на погоне; а в старшем классе наиболее достойный из всех делался фельдфебелем; за ним, по нисходящему порядку достоинств, двое или трое производились в старшие — и большее число в младшие унтер-офицеры. Должность фельдфебеля заключалась в том, что, когда воспитанники строились в колонну, чтобы итти на завтрак, на обед или в классы, он один оставался вне строя и командовал колонне итти налево или направо. Сверх того ежедневно по утрам ходил в квартиру ротного командира доносить, что в роте все благополучно. При этом он мог бы, конечно, доносить и многое другое; но в мое время наш командир, барон Розен, был такой честный человек, что едва ли стал бы терпеть доносы товарища на товарищей. По крайней мере, за все время моего пребывания в училище ничего подобного не всплывало наружу. Должность же унтер-офицеров была еще более легкая — они поочередно дежурили по роте и должны были только вставать утром раньше других, чтобы будить лентяев на вставанье. Впрочем, задача эта была не совсем лег-

кая — в молодости спится, как известно, очень крепко, а вставать приходилось по барабану в 5½ часов утра, потому что в 7 часов кончался утренний завтрак,[1] после которого шли тотчас же в классы. Учебной частью заведывал инспектор (полковник), общий для офицерских и кондукторских классов, а превыше всех стоял, в чине генерала, начальник Главного инженерного училища (в первый год моего пребывания — генерал Шарнгорст).

Училище наше помещалось (помещается, вероятно, и теперь) в главном корпусе бывшего дворца императора Павла (называвшегося поэтому Инженерным замком), по фасаду, обращенному к Летнему саду. Нижний этаж занимали спальни кондукторской роты (5 комнат), канцелярия, цейхгауз, рекреационная зала и квартира ротного командира; а в верхнем этаже 4 комнаты кондукторских классов, модельная (над рекреационной залой нижнего этажа) и две комнаты офицерских классов. Помещение было, конечно, роскошное, комнаты высокие и светлые. На радость курильщиков, в печах очень высокого здания были такие сильные тяги, что куренье через вьюшки не оставляло после себя никаких следов. Куренье было запрещено, но не строго преследовалось, нужно было только не попадаться на месте преступления (а для этого принимались, конечно, меры, в виде караульных) и не дымить в комнате. Гимнастики не существовало; но пробегаться в свободные часы было где: из рекреационной залы был выход на довольно большой плац (по всему фасаду, обращенному к Летнему саду), куда нас пускали во все времена года. Во времена Николая нас, военных, приучали к холоду; единственным теплым платьем даже в 25-градусные морозы были ничем не подбитые шинели из темно-серого сукна (значительно более тонкое, чем солдатское), которые надевались тогда в рукава (а в теплое время носились в накидку); наушники на ушах и жесткие, набеленные мелом варежки на руках. В шинелях мы щеголяли только выходя из училища; в стенах же его и зимой, во время игр на плацу, одеяние наше состояло из штанов серо-голубоватого цвета и куртки с погонами и стоячим воротником.

При училище была церковь и свой священник, с магистерским крестом, Розанов. Помню, что по вечерам он приходил иногда в наши дортуары для религиозных, ни для кого, впрочем, не обязательных собеседований; но учил ли он нас закону божию, не помню, хотя утверждать противное не смею. Если учил, то в низшем классе и всего один год. Классы нумеровались снизу вверх: 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Математике обучали недурно: в низшем классе — арифметика; в следующем алгебра,

[1] Кормили нас вообще не дурно, особенно по вторникам, где за обедом являлся сносный пирог с вареньем — подарок инженерному училищу из собственных средств великого князя Михаила Павловича; но за завтраком давали бурду, которой я не мог пить за все 4 года, — жиденький ячменный кофе, сваренный с молоком на патоке.

геометрия и тригонометрия (сферической не учили); во 2-м классе аналитическая геометрия (без высшего анализа) и начертательная, со включением перспективы, теории теней и теории сводов; в старшем классе дифференциальное исчисление (преподаватель поручик Паукер, бывший впоследствии очень короткое время министром путей сообщения); в нижнем офицерском классе интегральное исчисление (преподаватель Остроградский)[1] и аналитическая механика (преподаватель — строитель Николаевского моста, полковник путей сообщения Кербедз). Стоит еще помянуть добрым словом уроки истории архитектуры, казавшиеся мне очень красивыми; красивое изложение новой истории преподавателем Шакеевым и истории французской литературы в старшем классе очень хорошим учителем Cournand. Обучение главному предмету — фортификации длилось все шесть лет, начинаясь с описания искусства вязать туры и фашины. Но к инженерному искусству, со всеми его аксессуарами, черченьями разного рода, душа у меня не лежала — моим любимым предметом в старшем классе была физика; и в доказательство того, что я занимался ею успешно, может служить то обстоятельство, что на публичном выпускном экзамене, происходившем в присутствии начальника инженеров Геруа и многих других генералов, учитель физики выбрал для ответа по своему предмету меня. Помню, что он только что получил перед этим из Германии электромагнитную машину Штерера, обучил меня у себя на квартире ее управлению, и на экзамене я продуцировал все ее действия. Каждый из нас знал наперед, что будет отвечать, но с виду экзамен происходил по билетам, которые лежали на столе перед начальником инженеров, и экзаменующийся, после низкого поклона важному человеку, брал билет на его глазах из кучки. В нижнем офицерском классе любовь моя перешла на химию (читалась только неорганическая), которую читал Ильенков. Свой экзамен химии я тоже помню. Математика мне давалась, и, попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе.

Распорядок дней был следующий. С 7 до 8 утра приготовительный класс без учителя; с 8 до 12 ч. — уроки; с 12 до 2 — рекреация. У кого были деньги, могли в эти часы покупать на свой счет (в столовой у служителя Галкина) булки с маслом и зеленым сыром и сладкие пирожки; а для неимущих выставлялась в столовой большая корзина с ломтями черного хлеба. Многие из нас, неимущих, зимой, когда топились печи, обраща-

[1] В тот год, как я его слушал, читал он очень мало; время проходило большей частью в решении задач и в разговорах о походах Юлия Цезаря, Ганнибала и Наполеона. Нас, как математиков, он ценил, шутя, очень низко; по его словам, первый математик — бог, потом великий Эйлер; ему он ставил высший бал — 12, себе — 9, Паукеру — 6, а всем нам — *нул* (он говорил с хохлацким акцентом).

ли эти ломти в сухари. Сушильнями служили печные трубы, и к вечеру лакомство было готово, чтобы хрустеть на зубах. В 2 часа был обед с пением молитв при начале и конце; с 3 до 6 час. после обеда опять классы. Стало быть, ежедневно 7 часов учения, за исключением пятницы, когда послеобеденные уроки продолжались только до 4½ час., так как в следующие за тем полтора часа производилось ротное учение, т. е. маршировка, различные построения по сигналам и ружейные приемы (ружья в мое время были еще кремневые). Вечером, до ужина, занятия были различные: в понедельник фехтование для желающих; вторник — обязательные для всех танцы; среда — баня; четверг и пятница — весь вечер свободный; а в субботу в 6 час. отпуск по домам до 9 час. вечера воскресенья. Ужинали в 8 час. и в 9 — спать. Кто хотел заниматься после ужина, тому давалась сальная свечка, и заниматься можно было в умывальной хоть всю ночь. Кто предпочитал заниматься ранним утром, тот выкладывал на столик подле своей кровати число бумажек, соответствующее часу, когда его имел разбудить дежурный служитель. Бывали столики даже с двумя бумажками; но я не был в числе таких тружеников.

Подробностей моего первого знакомства с товарищами я не помню. Знаю только, что мне дали прозвище «деряба» и дразнили словами «chez le capitaine Kostomaroff»,[1] но не обижали, хотя в училище были охотники мучить новичков, и существовал даже дикий обычай наказывать их за провинности (большею частью, конечно, пустые или даже мнимые) плеткой, против которого не протестовало почему-то и начальство, хотя не могло не знать об этой скверности. В мое время артистами по части плеточной расправы были Стратанович и Маркелов, — выписываю нарочно их фамилии. Благодарю бога, он избавил меня от рук этих дикарей и, вопреки своей фамилии, сечен я в жизни не был. Из событий первого года больше всего в памяти осталась болезнь заушница (свинка), обучение фронту и бунт против начальства. Болезнь эту я помню из-за способов лечения оной училищным доктором, стариком Волькенштейном: он очистил меня сначала рвотным, а потом закатил такую дозу слабительного, что со мной сделался в лазаретном клозете обморок, всполошивший находившегося поблизости служителя, вероятно слышавшего шум моего падения. Не знаю, был ли я обязан этому эмпирическому лечению благоприятным исходом болезни, но опухоль разрешилась без перехода в нагноение. Фронту учили новичков заслуженные унтер-офицеры гвардейского саперного батальона. Первые шаги в этой науке заключались в обучении умению стоять «на вытяжку» и «вольно»; затем в умении плавно подымать то правую, то левую ногу для маршировки тихим шагом. Много лет спустя, когда я учился уже

[1] Должно быть на приемном экзамене, желая испытать, говорю ли я по-французски, меня спросили, у кого я учился, и получили соответственный ответ, подслушанный кем-либо из других экзаменовавшихся товарищей.

медиком в Берлине, мне часто приходилось проходить по Karlstrasse (на этой улице квартировал Боткин) мимо казарм с плацом перед ними, выходившим на улицу. На этом плацу обучали рекрут стоянию и маршировке точь в точь, как у нас в училище. Подобно тому, как все вообще военные экзерциции производятся с короткими перерывами для отдыха, так и наши саперы давали нам время от времени «вольно»; и в один из таких промежутков учитель нашей партии, Кузьмин, рассказал нам в поучение, как учил их самих в Царском Селе фронтовому искусству теперешний император Николай Павлович, тогда великий князь. Он раздевал их в манеже до-гола, чтобы видеть настоящую выправку, и требовал от начальства, чтобы оно не давало солдатам спать скрючившись. Если начальство замечало такого, то разбудит и выбранит; раз, другой спустит, а потом — не прогневайся. Бунт произошел по следующему случаю. Когда мы поступили в училище, в низшем классе оставался на другой год князь Е., мальчик не глупый, но отличавшийся непобедимой леностью.[1] Ленился он попрежнему и на второй год, и до нас дошли слухи, что родители его обратились к начальству с просьбой употребить для его исправления розги, что будто бы и было исполнено. Этот противозаконный поступок взволновал старших воспитанников, и решено было выразить протест главному начальнику, генералу Шарнгорсту, в следующей форме: ответить всеобщим молчанием на его обычное приветствие при первой же имеющей произойти встрече, что и было пунктуально исполнено. За это фельдфебель Зейме был лишен своего звания; всех нас осудили на сиденье по воскресеньям и праздникам в училище в течение года, и вскоре затем генерал Шарнгорст удалился, и на его место был назначен Ламновский. Затевая этот протест, нашим старшим, терпевшим в своей среде плеточную институцию, следовало бы иметь в виду, что у них самих «рыльце в пуху», или по крайней мере отменить эту гадость, после протестации, но этого не случилось.

К весне 1844 г. мы, новички, окончив курс ученья у саперов, поступили в ротный строй; и как только наступило тепло, началось веселое время приготовления к майскому параду. У себя дома ученья производились тогда чуть не ежедневно на открытом воздухе и два раза назначались репетиции парада на плацу 1-го кадетского корпуса, вследствие чего мы имели не малое удовольствие проходить строем по Невскому на Васильевский остров. Здесь, кроме всех военно-учебных заведений,

[1] Уловки, к которым он прибегал на экзамене из математики, достойны описания: на все трудные для него билеты он писал мельчайшим почерком на отдельных бумажках нужные по вопросу выкладки в том порядке, в каком придется писать их на доске, и прятал эти ответы на своей особе в следующем порядке: несколько билетов за галстук, 7 билетов в промежутке между пуговицами курточки, остальные в карманах штанов. Получив билет со стола экзаминатора, он уже знал по нумеру, где отыскать ответ, и списывал его, стоя у доски.

были собраны моряки, путейцы, горные и лесные — все, как следует, в военных мундирах с ружьями. Первый смотр делал генерал Шлиппенбах, а второй великий князь Михаил Павлович, имевший терпенье проходить пешком по фронту всех заведений и осматривать вблизи наш внешний вид. Это я хорошо помню по следующему случаю (в котором году, не помню): проходя по нашему фронту, он ткнул пальцем в грудь воспитанника Попова со словами «уберите мне в заднюю шеренгу эту угрюмую физиономию». День майского парада был, конечно, еще более радостный: до сих пор помню чувство какого-то воодушевленного старания отличиться, когда рота наша проходила мимо государя. Притом же, после парада, нас кормили парадным обедом и распускали по домам. Еще веселее был поход в Петергофский лагерь. После раннего обеда мы шли в походной форме, т.-е. с ранцами за плечами, к Нарвской заставе. В 4 часа приезжал туда император и пропускал мимо себя все отправляющиеся в лагерь военно-учебные заведения. В Красном Кабачке был привал, где нас поили чаем и каждому давали булку с маслом и телятиной. С этого привала мы, инженеры, проходили на ночевку в какую-то чухонскую деревню, спали в избах на соломе и вставали утром очень рано, чтобы иметь до похода в Петергоф возможность покататься верхом на чухонских лошадках (благо хозяева брали с нас недорого). В детстве дома я страстно любил верховую езду и с голодухи катался на чухонках с невыразимым наслаждением. При входе в Петергоф нас опять встречал и пропускал мимо себя император.

Лагерное поле в Петергофе представляло обширное, совершенно ровное луговое пространство. Вдоль всего фронта лагеря шла дорога, по которой проезжали, и довольно часто, только лица императорской фамилии. За этой дорогой, параллельно ей, шла так называемая линейка со значками заведений, при которых дежурили поочередно все воспитанники и вызывали всех «на линейку», как только по лагерной дороге проезжал кто-либо из царского семейства. Выбежав, мы строились и отвечали дружным «здравия желаем» даже маленьким членам фамилии, едва ли умевшим здороваться с нами. За линейкой шли шатры воспитанников в две линии; за ними палатки командиров; еще более кзади столовые, в виде крытых навесов, и наконец задний плац с разными службами.

Лагерный сбор составлялся, по порядку расположения заведений, справо налево: гвардейские подпрапорщики (и юнкера во 2-й линии);[1] инженеры (и пажи во 2-й линии); дворянский полк, артиллеристы и три кадетских корпуса (1-й, 2-й и Павловский). Левым флангом лагерь примыкал к английскому саду с протекавшей по нем не широкой, но глубокой речкой.

В лагере нас баловали. Ученьями не мучили, так что свободного времени было вдоволь; кормили лучше, чем в городе, во-

[1] Это было заведение для богатых людей с привилегией выходить по окончании курса в гвардию, — заведение, в котором учился Лермонтов.

дили часто на взморье купаться; в будни позволяли ходить в гости к лагерным товарищам (мы водили дружбу только с артиллеристами); а по воскресеньям и праздникам пускали гулять маленькими партиями (под ответственностью старшего) в дворцовый сад и даже в Александрию, где жила царская фамилия. Ежегодно, в какой-то важный царский день, была знаменитая иллюминация дворцовых садов; тогда водили нас гулять по залитым огнями аллеям большими группами офицеры. Кажется, в первый же год моей лагерной жизни в Петергофе с большим торжеством праздновалась свадьба великой княжны Ольги Николаевны. В одну из прогулок во время этих торжеств я помню пруд, по которому разъезжали изукрашенные огнями лодки с певцами, и лужайки, усеянные разноцветными огнями. Жаль одного: при лагере не было библиотеки, из которой воспитанники могли бы получать книги для чтения; а свободного времени было очень много и девать его было некуда. Впрочем, и в городе дело обстояло в этом отношении не лучше: училищная библиотека, конечно, существовала, но мы не знали даже, где она помещается. Уроки нам диктовали, и мы экзаменовались по запискам.

Закончу этот беглый очерк лагерной жизни заметкой, имеющей некоторый исторический интерес. Знаменитый впоследствии сподвижник Александра II, Дмитрий Алексеевич Милютин — министр, имя которого навеки связано с рядом благодетельных для России реформ военного быта — был в эти годы подполковником генерального штаба и состоял в какой-то должности при лагерном сборе военно-учебных заведений, потому что мы видели его на нашем учебном плацу, когда производилось ученье всему отряду.

В юности у меня была замашка выскакивать вперед в задуманных товарищами предприятиях, и она, вероятно, была замечена начальством уже на второй год моего пребывания в училище, потому что в этом году, раз на уроке геометрии, учитель ее, полковник Герман, добрый в сущности старик, относившийся к нам, как к малым ребятам, вызвал меня отвечать к доске словами: «а пожалуйте-ка к доске, господин Сечѐнов, коновод всех шалостей». Однако предприятия этого года, в которых я участвовал, были настолько невинного свойства, что я ни разу не сидел в карцере. Учился я недурно (сидел в первом десятке), по фронту преуспевал; поэтому с переходом во 2-й класс получил даже на погоны ефрейторскую нашивку; но в том же году совершил два проступка — один глупо-ребяческий (мне минуло 16 лет), а другой, неприглядный по выполнению, хотя и вышедший из побуждений, казавшихся мне хорошими.

Не знаю почему, но штатские учителя немецкого языка не пользовались у нас со стороны воспитанников уважением, особенно же учитель в 3-м классе Миллер, не умевший держать себя с достоинством и трепетавший перед начальством. Особенно боялся он великого князя Михаила Павловича; и раз в

приезд последнего к нам в классное время мы были свидетелями, как бедный Миллер, бледный и растерянный, чуть не дрожал от страха. Отсюда возник мой первый глупый поступок. Раз как-то, в час, когда Миллер учительствовал в 3-м классе, в нашем 2-м (комнаты были рядом) учителя не было, и между 16-летними разумниками возникла мысль попугать Миллера. На сей конец я взялся изобразить великого князя; на лицо мне надели почему-то маску с прорезами для глаз и носа; отворили с шумом и словами «идет великий князь» дверь в 3-й класс, и я вошел туда при громком смехе товарищей. На шум тотчас же прибежал дежурный офицер (капитан Немытский), сорвал с меня маску и отвел раба божьего в карцер на хлеб и на воду. Карцер у нас был отвратительный — темный, отгороженный от так называемой дежурной комнаты угол, без всякой мебели и даже без постели. Арестанта одевали в старые затасканные штаны и куртку и давали только подушку, так что спать приходилось на голом полу. Хорошо еще, что под дверью была щель, через которую товарищи приносили заключенному съестное подаяние, иначе сидение в таком месте в течение нескольких дней было действительно жестоким наказанием. Долго ли я сидел, не помню; но вышел оттуда уже без ефрейторских нашивок — разжалованным.

Теперь о другом деянии.

В закрытых заведениях, вследствие ежедневного соприкосновения с начальством, воспитанники имеют возможность подмечать в начальниках выдающиеся черты характера, да многое могут и слышать о них вне стен заведения в своей семье или от знакомых. Отсюда расположение к одним и нелюбовь к другим. Так, общим любимцем был добрый, шутливо повелительный полковник Скалон, приходивший на дежурство в мундире гвардейских саперов с бархатными отворотами. Его встречали не иначе, как целуя в бархатную грудь. Ротного командира, барона Розена, несмотря на его несколько суровый вид и неласковость, любили, уважали и знали, что он прямой, честный человек, а нового главного начальника из-за манеры его обращения и слухов извне невзлюбили. В придачу к этому, с первого же года его поступления, стали ходить между нами слухи, что он ввел шпионство в училище, даже указывали на воспитанника, занимавшегося этим ремеслом. Справедливо ли приписывалась ему эта реформа или нет, не знаю; но что шпионство существовало, будет, несомненно, показано далее. Нравиться такое нововведение, конечно, не могло, и я решился, не говоря никому из товарищей ни слова, написать генералу в один из отпусков чужой рукою письмо, в котором выставлялась неблаговидность учреждения и предостережение в следующей, как я помню, форме: «смотрите, Ваше Превосходительство, не все коту масляница, придет и великий пост». Храбрости подписать под письмом свое имя, однако, нехватило, и, отсылая его, я заранее приготовил себя к тому, что автор может

быть открыт, и имел в виду отвергать категорически свое авторство. Вслед за этим розысков между воспитанниками не происходило, и я молчал очень долго, но, наконец, не вытерпел — вероятно, считал свой храбрый поступок из-за угла подвигом — захотел поделиться славой подвига с товарищем. Как случилось, что таким товарищем оказался воспитанник Б., с которым я не водил особенной дружбы, не помню; но знаю достоверно, что секрет открыт был только ему, и знаю столь же достоверно, что история письма осталась вплоть до моего выхода из училища не известной всем остальным товарищам (иначе в течение последующих трех лет кто-нибудь из них заговорил бы со мной о письме, чего не случилось). Тем не менее вскоре после моей беседы с Б. на меня налетел врасплох называвшийся «гвоздем» дежурный офицер-надзиратель со словами: «так вот какие вы пишете пасквили на начальство». Издавна приготовившийся к отпору на такое нападение, я не смутился, посмотрел на него недоумевающими глазами и ответил, что этим не занимался. Много ли мало ли времени спустя, барон Розен призывает меня к себе на квартиру и говорит: «что вы, сударь, наделали, вы написали ругательное письмо начальнику». Барон не мог, конечно, не допросить меня, раз ему донесено было надзирателем по начальству; но я уверен, он был очень рад, когда я спокойно отклонил это обвинение, потому что не стал допытываться и тотчас же отпустил меня. С тех пор на несколько месяцев история канула в воду. Великим постом прихожу на исповедь к нашему священнику Розанову, и он спрашивает меня между прочим, писал ли я письмо начальнику. — Да. — На вопрос, что было написано в письме, я прочитал ему наизусть все от слова до слова. После причастия нас обыкновенно собирали в рекреационной зале; приходил генерал и поздравлял нас с принятием св. тайн. На этот раз, после поздравления, он вызывает меня перед фронт — выхожу и думаю: пропал — вместо того слышу следующие слова: «ради торжественного для вас дня прощаю вам проступок, из-за которого вы лишились ефрейторского звания, и возвращаю вам это звание». Что это такое было, отпущение мне более тяжелого моего греха или прикрытие греха священника, сказать не могу, но, думаю, скорее последнее, судя по тому, что в нашем генерале не было джентльменства и по его отношению ко мне впоследствии.

В старшем классе я был сделан унтер-офицером (т. е. получил по военным обычаям род чина, дающего некоторую власть над младшими воспитанниками) и опять провинился перед генералом. В этом году произошла по какой-то причине драка между воспитанниками 2-го и 3-го классов, и в наказание за это их лишили права пить по вечерам (после классов) в столовой собственный чай. Мера эта, конечно, строго соблюдалась дежурными офицерами, но от нее ускользал сын начальника, бывший тогда в 3-м классе. С 6—7 ч. вечера он, и до этой

истории, постоянно уходил на квартиру родителей (бывшую в том же здании), где, конечно, получал какое-нибудь угощение, и сохранил эту привычку после истории, когда его товарищи были осуждены по вечерам на ломти черного хлеба. Нам, старшим, это обстоятельство показалось делом несправедливым, и я, от лица старшего класса, запретил воспитаннику Ламновскому ходить по вечерам домой к отцу. За это никаких непосредственных мероприятий против меня не последовало, но генерал, как увидим, не забыл этого происшествия. Учился я недурно и в этом выпускном классе унтер-офицер был исправный, ни в каких других проступках замечен не был и даже пользовался некоторым расположением барона Розена. Это я заметил по следующему случаю. На одном из выпускных экзаменов мне пришлось отвечать последнему, и экзамен затянулся на несколько минут против начала нашего обеда; так что, когда я сбежал сверху вниз, рота сидела уже за обедом в столовой и барон Розен был там. При моем появлении он встретил меня словно с некоторой тревогой словами: «ну что, благополучно ли?» и, получив утвердительный ответ, улыбнулся и сказал: «слава богу». — Он, конечно, знал генерала и знал, что он присутствует на всех выпускных экзаменах.

В лагерный сбор этого года нашему хорошему честному барону Розену пришлось испытать два больших горя. Старый, сурового вида служака, он был назначен в этом году командиром 1-го батальона (гвардейские подпрапорщики, пажи и мы), а всем отрядом командовал молодой, франтоватый и кичливый директор школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров генерал Сутгоф. Нет сомнения, что между ними должна была существовать неприязнь и до имеющего быть описанным случая — для этого было достаточно взглянуть на их фигуры.

Случай же этот разыгрался на переднем учебном плацу во время батальонного учения в нескольких десятках шагов от нас. Перед фронтом, кроме нашего командира, стоял Сутгоф и, в качестве зрителя, полковник Лишин, занимавший в школе подпрапорщиков ту же должность, что у нас бар. Розен. При каком-то батальонном построении подпрапорщики напутали, и бар. Розен, вместо того чтобы обратиться к ним, сказал полковнику Лишину что-то неодобрительное об его учениках. С военной точки зрения это был, конечно, промах, тем более что рядом стоял начальник барона Сутгоф и вместе с тем начальник порицаемых подпрапорщиков. Генерал остервенел и закричал во всю мочь: «это что за фарсы, господин полковник, извольте отправиться с плаца долой в палатку». Бедному старому заслуженному полковнику перед толпой мальчиков пришлось взяться под козырек и отправиться на своей неказистой лошади с плаца долой.

Еще большее горе предстояло ему далее.

В этом году, задолго до лагерного сбора, нашему училищу дали впервые небольшого размера понтоны, с прочими мосто-

выми принадлежностями, чтобы обучить нас собиранию понтонов[1] и наводке моста. Собиранию понтонов мы выучились еще в городе; а в наводке моста упражнялись в Петергофе на речке узенькой и глубокой (у нас было всего 8 понтонов), протекавшей по Английскому саду. Когда же мы преуспели и в последнем искусстве, то стали ждать царского смотра понтонному ученью. Беда случилась именно на таком смотру; но для того, чтобы понять, как она произошла, необходимо маленькое отступление.

Для фронтового ученья нас строили в 3 шеренги следующим образом: в передней ставили высоких ростом и в то же время хорошо умеющих делать ружейные приемы, так как эта шеренга была на виду; самых маленьких прятали в среднюю шеренгу; а в заднюю, наиболее закрытую от наблюдателя, попадали из крупных по росту самые плохие фронтовики. Кроме того ружья у нас были не для стрельбы,[2] а только для вида, плохие и у многих обывателей задней шеренги с заржавленными, туго вынимавшимися шомполами, что при фронтовом ученьи не составляло, однако, существенного изъяна, потому что обладателям таких ружей вынимать шомполов не было надобности — нужно было только, чтобы руки задней шеренги поднимались и опускались в такт с руками передней при мнимом заряжении. При понтонном же ученьи строй был иной, по росту: в переднюю самые большие, следующие за ними в заднюю, а самые малые в среднюю. Стало быть, тогда в переднюю шеренгу попадали многие из обычных обитателей задней.

Итак, в один прекрасный и в высшей степени неудобный для училища день, притом не загодя, как бы следовало, а за 3—4 часа до смотра, пришел приказ, что в 6 ч. вечера государь будет делать смотр понтонного ученья. День был неудобен тем, что барон Розен был как раз в этот день в отпуску в Петербурге и вернулся в лагерь уже после того, как все было кончено. Пришли мы с фурами к речке, конечно с ружьями, и построились для понтонного ученья. В 6 ч. приехал государь один, без свиты, встал в 25 шагах перед нашей небольшой кучкой (всего 40 человек в ряд) и скомандовал: «ружейные приемы!» В нескольких шагах от царя струсили бы, я думаю, закаленные в фронтовом искусстве субъекты, а тут перед его

---

1. Наши понтоны имели вид продолговатых, похожих на гробы, ящиков и состояли, в разобранном виде, из 5 рам, скреп и обтягивающей ящик просмоленной парусины. Все эти части с прочими мостовыми принадлежностями укладывались в определенном порядке в фуры, и для понтонеров существовал определенный же порядок действий в операции собирания понтонов.

2 Во всех военно-учебных заведениях фронтовые ружья служили лишь для того, чтобы обучать внешнему уменью обращаться с оружием; и во время фронтового учения мы делали только вид, что заряжаем ружье и палим. Для действительного стреляния назначались отдельные часы, вне фронтового учения: стреляли по-одиночке друг за другом в цель.

глазами стояло много таких, которые привыкли прятаться в задних рядах от глаз простого начальства. Чуя беду, струсил, конечно, и командовавший нами, за отсутствием полковника, штабс-капитан С. Фигура его была жалкая, командовал он каким-то сдавленным голосом. Приемы делались, видно, плохо, потому что государь все более и более хмурился и, наконец, не выдержал, когда дело дошло до приема заряжения ружей. У кого-то из передних не вынулся шомпол; государь подбежал, вырвал у него из рук ружье, выдернул шомпол, бросил ему ружье назад и закричал: «учить этих мерзавцев целую ночь на заднем плацу!» Тем смотр и кончился. Государь уехал, а нас свели учиться на задний плац. В 8 ч. наш полковник вернулся в лагерь, прямо к нам, и я уверен, что воспитанники инженерного училища ни в какие годы его существования не делали ружейных приемов с таким азартом, как мы в этот достопамятный вечер, под командой нашего полковника. Он хвалил нас ежеминутно и не ради утешения, а в самом деле, по всей справедливости. В 10 часов вечера пришел приказ из дворца прекратить ученье.

На нас этот смотр ничем не отразился; а на судьбу барона Розена остался, может быть, не без влияния. Будучи уже в этом году (1847) старым заслуженным полковником с Владимиром на шее, он так и не дослужился до генеральского чина. Уходя из училища, этот суровый старик, говорят, плакал и умер где-то в провинции командиром саперного батальона. Мир праху этого честного человека!

*

Лагери этого года были для инженеров, как читатель видит, не веселые; но за ними для нас, выпускных, готовилось в городе большое счастье: в день возвращения в город в дортуарах училища на наших постелях уже лежал заказанный перед летом офицерский костюм с эполетами (офицерских погонов тогда еще не было, и я уверен, что погоны доставляют теперешним выпускным гораздо меньше удовольствия, чем эполеты). В жизни моей было не мало радостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно не было. Перестаешь быть школьником, вырываешься на волю, запретов более нет; живи, как хочется, да еще с деньгами в пустом, до того, кармане (на выход в офицеры мне, конечно, были присланы деньги из дому и в придачу бобровый воротник к будущей зимней шинели). Одно меня немного огорчало — не было еще усов; но я не преминул помочь этому горю и в первые же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам. В первые же дни снял с себя для матери дагерротипный портрет в офицерском мундире (фотографирования на бумаге еще не было), и, наконец, в первые же дни настолько объелся сардинками, что не мог долгое время их видеть. Хорошо, что я не знал до этого

времени сладостей кутежа[1], иначе мог бы удариться, по данным характера, во многие тяжкие. Притом же мне удалось поселиться так, что не приходилось таскаться по трактирам. В двух надворных флигелях одного и того же дома на Шестилавочной (впоследствии Надеждинской) поселились пять товарищей, и в одном из флигелей я с Постельниковым и полковником Германовым. Постельникову, по обычаям того времени, прислали родители, при его производстве в офицеры, пожилого слугу, оказавшегося поваром. В нашей квартире была кухня, и этот добродетельный человек взялся кормить нас пятерых обедом и ужином по 7½ руб. с человека. Для новоиспеченных прапорщиков обстоятельство это было важно еще в том отношении, что они получали всего 300 руб. в год жалованья. Жизнь в то время была, должно быть, дешевая, потому что при маленькой поддержке из дому я абонировался в сентябре в Большом театре на Итальянскую оперу, наслышавшись об ее чудесах от товарища Валуева, родители которого были абонированы в опере со времени ее появления в Петербурге. Абонировался я на двухрублевое место и получил самое скверное кресло в театре, крайнее 13 ряда подле входной двери; но наслаждался на этом месте, вероятно, не менее счастливцев, сидевших в бельэтаже.

Описывать повседневную жизнь этого года не стоит. Проходила она в кругу прежних товарищей; учиться приходилось попрежнему (в офицерских классах ежедневно от 9 до 2); новых знакомств не завелось; дешевых увеселительных заведений в Петербурге тогда не было (был я, впрочем, один раз, в качестве зрителя, в танцклассе Марцинкевича), так что, когда улеглись на душе радости выхода с эполетами на свободу, жизнь стала казаться даже скучноватой. Одной усладой для меня была итальянская опера. В этот сезон пели: две примадонны, Борзи и Фрецколини, тенора Гуаско и Сальви, бас Тамбурини (имена прочих не помню). Здесь развилась во мне оставшаяся доселе страсть к итальянской музыке: и здесь же восторги от пения Фрецколини перешли мало-по-малу в обожание самой дивы. Приблизиться к ней у меня и помыслов не было — в течение этого года я уже имел случай убедиться, что мне, с моей изуродованной оспой татарской физиономией, иметь успех у прекрасного пола не суждено, — поэтому обожание происходило издали и не доставляло мне никаких мучений. Но перед расставанием с нею все-таки захотелось сказать ей «прости» и дать почувствовать, что в Петербурге она оставляет пылающее к ней сердце. С этой целью в первые дни масленицы 1848 г.

[1] В бытность в училище, куда я попал из дома мальчиком, не бывал нигде, кроме семьи Штром, где вкус к кутежам развиваться не мог. Водки и вина там не водилось. Единственный кутеж происходил раза два в год, по большим праздникам, в виде так называемого «глинтвейна» с сахаром и корицей.

я почему-то счел нужным удалиться из дому в известную тогда гостиницу у Балабина, на Большой Садовой, для написания ей по-французски письма, и сочинил его там под звуки органа. В письме она извещалась, что автор преподносит ей на прощанье, за доставленные непримерные наслаждения, прилагаемые стихи и будет находиться на подъезде Большого театра в четверг, по окончании утреннего спектакля (в это утро давали Дон-Жуана, и она пела Церлину). Стихи эти принадлежали, однако, не моему перу, а были написаны некогда учителем французского языка в Смольном M.Riffé и поднесены при выходе из института Вильгельмине Константиновне Штром, в которую он был, по ее рассказам, влюблен. Эти стихи я знал наизусть, еще будучи ее учеником в деревне, не забыл и в инженерном училище, воспользовался ими в данном случае и помню их доселе. Вот они:

Gardez ce vœu du cœur comme un souvenir
D'un ami de votre jeunesse,
Et puisse aux jours de la vieillesse
Votre regard le voir encore avec plaisir.
Ces jours sont loin pour vous,
A peine votre vie est-elle dans son beau printemps,
Vous avez devant vous l'avenir et le temps.
Mais la coupe pour moi sera bientôt remplie. —
Pour moi depuis longtemps le sont évanouis
L'éspoir, l'illusion et surtout le droit de plaire.
Vous le possédez au contraire,
Jouissez en. Que vos jours embellis
Par tout ce qui charme l'existence
Ne connaissent ces maux sans espérance,
Ce maux par qui nos cœurs sont á jamais flétris.

В этих стихах я сумел изменить только вторую строчку: вместо нее было написано:

Des jours de votre gloire, ma déesse.

Остальное было послано без изменений. В назначенный день я простоял на подъезде в ожидании ее выхода чуть не час. Она пробежала к своей карете очень скоро, но искоса все-таки взглянула в мою сторону. Это и было мое прощание с дивой.

Перехожу теперь к моему прощанию с инженерным училищем.

Судьба учившихся в нижнем офицерском классе, смотря по успехам в науках, доказанным на экзаменах, была троякая: получившие в среднем $47^1/_2$, при равном балле 48, переходили в верхний класс подпоручиками; второй разряд туда же, без повышения чином, а третий выходил из училища тем же чином в армейские саперы. Учился я в этом году не так прилежно,

как в прежние, но приналег к экзаменам и имел право надеяться на переход в верхний класс подпоручиком; но этого благодаря прозорливости нашего начальника не случилось.

Главными инженерными предметами в нижнем офицерском классе были долговременная фортификация и строительное искусство. На экзамене из фортификации нужно было представить рисунок долговременного укрепления, и за него ставили баллы; но большого значения рисунки эти иметь не могли, потому что в них ничего нового собственного измышления не полагалось — вычерчивалась и раскрашивалась какая-нибудь одна из известных систем укреплений. Кроме того, все немастера чертить и рисовать (к каким принадлежал и я) заказывали обыкновенно эти рисунки в чертежной инженерного департамента; и этот древний обычай, при ежегодном пользовании им, не мог не быть известен начальству. Сверх всего прочего, капитан Андреев, будучи не менее страстным итальяноманом, чем я, встречаясь со мной в театре на одних и тех же представлениях, очень благоволил ко мне и частенько беседовал со мной не о крепостях и Вобане, а о слышанных операх и их исполнителях. Как бы то ни было, заказанный мною для экзамена рисунок он подписал без всяких расспросов, не предчувствуя ожидавшего меня на экзамене из его предмета (а этот экзамен был первый) сюрприза. Генерал Ламновский, конечно, присутствовал на этом важном экзамене и, как только я представил рисунок, схватил циркуль и стал сверять размеры всех частей с приложенным к рисунку масштабом (чего я не делал). Злодей рисовальщик устроил мост через ров в 5 сажен вместо 3; это не ускользнуло от циркуля генерала, и он поставил мне за рисунок 15. Другими словами: сразу лишал меня возможности перейти в верхний класс подпоручиком. Зная это, я перестал готовиться к экзаменам, как следует, и получил второй скверный балл из нелюбимого мною строительного искусства. По получении этой отметки генерал не преминул обратиться ко мне со следующими словами: «если бы вам сказал кто-нибудь прежде, что вы будете стоять рядом с В. и П. (последними учениками в классе), вы бы не отпустили того со двора». Клянусь честью, что сказаны были именно эти слова.

По окончании экзаменов все мы получили повестки явиться в определенный день и час в училище. Генерал вышел к нам со списком в руках и объявил, что призвал нас выслушать наши желания и по возможности исполнить их. Вызывая отличившихся по экзаменам поочередно, он объявлял им о их праве перехода в верхний класс; спрашивал, желает ли каждый из них этого перехода и, получая утвердительные ответы, делал отметки в списке. Я оказался первым в 3-м разряде; мне было объявлено, что перейти в верхний класс я не могу, и на мое желание поступить в Кавказский саперный батальон получил в ответ короткое сухое «не можете». Мне не пришло тогда в го-

лову, что распределение нас 3-разрядных по саперным батальонам не было в его власти, и казалось, что сухой отрицательный ответ на вызванное им же самим мое заявление был лишь новым проявлением его желания отомстить мне. Поэтому на следующее утро я надел мундир и отправился в училище просить у начальника разъяснения, почему желание мое не может быть исполнено. К счастию, он меня не принял.

Через несколько дней мне и одному из моих сожителей, Постельникову, было объявлено, что мы назначены в Киев, во 2-й резервный саперный батальон.

Как только нам выдали подорожные и прогонные деньги, Постельников, я и присланный мне в течение этого года из деревни в услуги молодой парень (башмачник по ремеслу) Феофан Васильев отправились, в самый разгар петербургской холеры, в путь, на юг.

Мог ли я тогда думать, что непочетное удаление из училища было для меня счастьем?— Инженером я во всяком случае был бы никуда негодным.

В КИЕВЕ, САПЕРОМ
(1848—1850)

Батальон, в который я был назначен, составлял вместе с 6-м саперным батальоном бригаду, которая летом стояла лагерем под Киевом, верстах в двух от города, а осенью уходила на зимние квартиры. На зиму в городе оставалась юнкерская школа и те из саперных офицеров, которые назначались туда учителями. К числу последних принадлежал и я; поэтому нести военную службу мне пришлось только в течение двух лагерных сборов, да и то неполных, так как мы с Постельниковым, по дороге в Киев, заезжали к его родителям и прибыли на место в конце июня, с опозданием на несколько дней. Начальство спустило нам эту вину с снисходительной улыбкой, и мы разместились очень удобно в лагерных бараках (не палатках). Кроме Постельникова и меня во 2-й резервный батальон прибыл наш однокурсник Владыкин и в 6-й саперный Корева, так что с первых же дней мы очутились в *своем* обществе.

Главные наши командиры (бригадный генерал Букмейер, батальонный — полковник Кехли) не были ни служаками, ни строгими начальниками. Генерала за все время пребывания моего сапером видел я много-много раза три-четыре. Полковник наш (как, впрочем, и все семейные офицеры) жил вне лагеря, являлся перед нами только на батальонном ученьи, держался далеко от своих подчиненных и был по всем видимостям человек благовоспитанный и порядочный: не вмешивался в батальонные дрязги, не ругался на ученьях и был со всеми безупречно вежлив. Нужно отдать справедливость и нашим ротным командирам: и они не держали себя с нами, прапорщиками, по-начальнически (несмотря на то, что мой ротный М. имел вид «бурбона» и, очевидно, происходил из кадетов старого закала, отличаясь всеми классическими признаками этой породы — низким ростом, плотным сложением, кривыми ногами и грубой отрывистой речью.[1] Да и вообще отношения между офицерами

[1] Мне даже кажется, что нам, пришельцам из инженерного училища, высшее начальство покровительствовало потому, что во всей бригаде, кроме нас четверых, было еще только двое из инженерного училища — бригадный адъютант Тецнер и поручик 6-го батальона Роше. Это выразилось между прочим тем, что из нас четверых трое с первого же года были назначены учителями в юнкерскую школу, а начальником ее — поручик Роше.

«ученого войска», как называли себя саперы, были приличные. Долгом считаю прибавить к этому, что в обе лагерные стоянки я не был свидетелем ни пьянства, ни крупных ссор, никакого вообще безобразия в среде офицеров, ни даже зуботычин во фронте; и только раз пришлось быть невольным свидетелем страшной экзекуции над бедным солдатом (Калугиным) из нашего батальона. Его гнали сквозь строй за второй побег, после того как за первый он был разжалован из унтер-офицеров и считался штрафным. Все офицеры были обязаны присутствовать при этой варварской церемонии; наш полковник, однако, сумел уклониться от присутствования, и всем распоряжался на его месте командир 1-й роты, капитан Ползиков. Я видел только, как руки бедняка, в штанах, с оголенной спиной, привязали не то к ружью, не то к палке, и два солдата, держа концы этой горизонтальной опоры для несчастного, повели его между двух рядов солдат с длинными хворостинами. От остального закрыл глаза и только по окончании экзекуции видел открытыми глазами следующую сцену. Распорядитель, капитан Ползиков, заметил между секущими солдата, который не ударил несчастного розгой, и как только того увезли в госпиталь, разложил виноватого перед всеми его товарищами и всыпал ему двадцать пять розог. Этот встал, натянул штаны и промолвил: «Покорнейше благодарю ваше высокоблагородие».

Нашему ученому войску следовало бы в лагерное время заниматься больше всего саперными работами, но на это посвящалось очень мало времени, потому что, помимо избыточно практиковавшейся шагистики, летом под Киевом не оставалось никаких других войск, кроме саперов, и нам приходилось занимать в городе караулы. Лично я в эти два лета занимался недели две съемкой в окрестностях лагеря и состоял при заведующем минными работами, где, однако, играл роль не деятеля, а зрителя, так как в училище практике саперного дела нас не обучали.[1] Воспоминаний об этой деятельности у меня никаких не осталось; знаю только, что она была мне сильно не по душе, что я был очень неисправным офицером, особенно с тех пор, как стали зарождаться в голове новые стремления и цели, и что мои неисправности сходили мне с рук благодаря протекции нашего бригадного адъютанта, поручика Тецнера. Однокашник по училищу, он, конечно, знал историю моего выхода из оного, сам тяготился военной службой и являлся моим защитником. Раз даже спас меня от угрожавшего мне со стороны генерала ареста за неисправное дежурство по батальону.

Когда мы поближе познакомились с нашими новыми товарищами, между ними, в лице подпоручика 6-го батальона Василия Афанасьевича Чистякова, оказалось прелестнейшее, вытканное из незлобия и наивности существо, в образе беззабот-

[1] Много позднее я слышал, что воспитанников нашего училища стали посылать не в кадетский лагерь, как в наше время, а в саперный.

ного чудака, одинаково веселого в нищете, невзгодах и даже смертельной опасности. Существовало достоверное предание, что, отправляясь в батальон по выходе из корпуса, он заехал по дороге, неподалеку от Киева, к бабушке, которая подарила ему на прощанье тулупчик на мерлушке и жеребеночка. Как он довез последний подарок до Киева, не знаю; но известно, что вскоре по прибытии Василия Афанасьевича на место службы он был вовлечен некоторыми новыми приятелями в карточную игру, проиграл все свои деньги и спустил в придачу оба подарка бабушки. Карты он после этого бросил, но пришлось наделать долгов, и в конце-концов бедный Василий Афанасьевич был вынужден питаться из ротного котла, так как все почти месячное жалованье уходило на оплату долгов. В таком именно положении мы его и застали. Вскоре мы сдружились, и он стал неразрывным товарищем нашего молодого кружка.[1] В течение месяца Василий Афанасьевич был, конечно, нашим гостем; но как только получалось жалованье, в ответ на наши угощения он устраивал в своем бараке бал, и мы приглашались гостями. На оставшиеся от жалованья крохи угощал он нас чаем, закуской и непременно бутылкой мадеры с графинчиком водки. Веселился он на этих балах до того, что пускался иногда в пляс; потчевал себя всем гораздо больше, чем гостей, и только просил, чтобы все было съедено и выпито. Так беззаботно проживал Василий Афанасьевич до конца следующих лагерей (1849), когда случилось следующее происшествие. Недели за три до выхода батальонов на зимние квартиры его и некоторых из нашего кружка пригласил к себе вечером на чай женатый поручик Роше. Разговор зашел о прелестях женатой жизни, и хозяин, конечно шутя, обратился к Чистякову со словами: «Что это вы, Василий Афанасьевич, не женитесь, ведь пора, и невеста у меня есть подходящая — учительница моих детей, прекрасная девушка, правда небогатая, да ведь для вас не в деньгах счастье». Василий Афанасьевич принял эту шутку, очевидно, всерьез, потому что задумался и ничего не ответил. В последовавшую затем неделю сборов батальонов к выходу на зимние квартиры, когда все офицеры освобождались от служебных занятий, мы, учителя юнкерской школы, простились с Чистяковым (и прочими приятелями) и переселились в город. Едва ушли батальоны, как до кого-то из нас дошло известие, что Василий Афанасьевич женился и все свое имущество повез в детской колясочке на денщике. Вторая половина известия прибавлялась, конечно, в шутку; но первая была верна. Василий Афанасьевич действительно женился на рекомендованной ему невесте, которая, вероятно, думала, как и жених, что не в деньгах счастье. В феврале следующего года я вышел в от-

[1] Нужно заметить, что тогда офицеры жили в разбивку, не образуя цельного товарищеского кружка наподобие того, как живут, например, офицеры-однополчане в Германии. В нашем лагере не было и помещения, где мы все могли бы сходиться вместе.

ставку, уехал из Киева и услышал о Чистякове много лет спустя только еще раз. Во время Крымской кампании бывший мой товарищ по училищу и саперному батальону Владыкин, тогда уже отставной офицер, побывал туристом в осажденном Севастополе и посетил все наши передовые посты. На одном из них, в землянке, он увидел кучу офицеров и между ними Василия Афанасьевича в его обычном домашнем костюме, в штанах и рубашке, мечущим банк. По его словам, Василий Афанасьевич мало изменился и встретил Владыкина обычным веселым смехом.

В первую же зиму я познакомился в Киеве с двумя семейными домами. В одном из них, с тремя молоденькими барышнями, мы, учителя юнкерской школы (Владыкин, Корева и я), играли роль молодых офицеров, имевших занимать барышень, играть в фанты и даже танцовать один раз в неделю, в назначенный день, а в другом доме, куда из товарищей вхож был я один, были положены молодой представительницей дома все основания моей будущей судьбы.

В дом с барышнями ввел нас женатый на их старшей сестре саперный офицер. Главой семейства был пожилой зажиточный помещик из-под Киева, живший в городе только по зимам в собственном доме. Человек он был не глупый; очень не любил киевских монахов, знал и рассказывал из их жизни много пикантного; знал, очевидно, цену образованию, потому что старший сын его был студентом, и был, наконец, большой любитель музыки. В его доме нередко появлялся гостем известный тогда киевский учитель пения, итальянец (по фамилии, кажется, Ваверио); и раз на вечере был какой-то заезжий пианист и импровизатор Шифф, показывавший свое искусство. Кто-то из гостей давал ему тему, а он играл на нее вариации. Все это я привожу с целью показать, что тон в этом доме был совершенно порядочный и что в глазах хозяев мы никоим образом не являлись в качестве возможных женихов для дочерей. Прибавлю к этому с благодарностью, что принимали нас очень радушно и в весну или осень 1849 г. мы были даже один раз у них в деревне.

В Киеве, как в крепости, была так называемая инженерная команда, и между молодыми офицерами этой команды был наш однокурсник Безрадецкий и два, тоже знакомых по училищу товарища, офицеры М. и Х., старше нас на три года. Понятно, что как только мы узнали о прибытии Безрадецкого в Киев, а он узнал о нашем пребывании в саперах, то начались взаимные посещения. У него мы встречались с обоими старшими товарищами, и я вскоре сошелся с последними. Вероятно, помогла мне и здесь история моего выхода из училища, как она помогла мне у Тецнера. Много ли, мало ли времени прошло после этого знакомства, не помню; но раз инженер Х. предложил мне познакомиться с его семейством, получил, конечно, согласие и свез меня к своим на Подол. С тех пор я

ездил в его семью раз в неделю во всю зиму 48-го года и в первую половину следующего. По дороге туда путь лежал мне мимо офицерского дома инженерной команды, я заезжал туда за инженером М., и мы вдвоем отправлялись на Подол и вместе же возвращались оттуда.

Это была обрусевшая польская семья. Отец и мать католики, жили в молодости (он врачом) в таком русском захолустье, что детей пришлось окрестить в русскую веру. Позднее он жил долгое время в Костроме, занимаясь частной практикой; и здесь над его семьей стряслась беда. — При императоре Николае Кострома была одним из ссыльных городов для поляков, и в ней случился большой пожар. Губернатор, не думая долго, заподозрел в пожаре поляков и засадил всех без исключения в острог. В число заключенных попала и рассказывавшая мне об этом событии дочь доктора, тогда 16-летняя девочка. Для расследования дела был послан из Петербурга генерал Суворов (хорошо известный впоследствии петербургский генерал-губернатор); подозрение губернатора оказалось неосновательным: все были выпущены на свободу, и рассказчица получила даже от Николая Павловича бриллиантовые серьги в утешение за невинно претерпенное сидение в тюрьме. Незадолго до описываемого мною времени семья переехала в Киев и вела очень скромную жизнь.

В те дни, когда я бывал у них с поручиком М., мать никогда не выходила к гостям; старший сын (путейский офицер) показывался крайне редко; отец-старик появлялся лишь на короткое время; других гостей, кроме нас двоих, никогда не было; поэтому нашу вечернюю компанию, под предводительством моей молоденькой, двадцатилетней благодетельницы Ольги Александровны, составляли только два ее брата (инженер, введший меня в дом, и младший брат, студент университета) да мы двое.

На председательство в мужском обществе давало ей право звание замужней женщины — она была вдова, потерявшая мужа через полгода после свадьбы — и еще более то обстоятельство, что, несмотря на юность, она была по развитию, да пожалуй и по уму, много выше своих собеседников. Описывать ее внешность я не буду; достаточно будет сказать, что она не была, как полька Мицкевича, бела как сметана и как роза румяна; не была и весела, как котенок у печки, но принадлежала несомненно к породе кошечек с подвижным, гибким станом, и очи ее очень часто светились действительно как две свечки, потому что была вообще из породы экзальтированных. Всего же милее в ней была добрая улыбка, которою нередко кончались ее горячие выходки, когда она *сама* чувствовала, что доходила в своих увлечениях до парадоксов.

Училась Ольга Александровна дома, и учителями ее были исключительно мужчины (вероятно, кто-нибудь из костромских поляков); отсюда ее вкус к серьезному чтению и серьезное

отношение к жизненным вопросам, с некоторой примесью озлобленности, естественно, впрочем, вытекавшей из общих условий тогдашнего существования и претерпенных ею личных испытаний. Коньком О. А. были сетования на долю женщин. В то время только что появилась в киевской продаже книга Легувэ («La femme»); она много носилась с нею, давала ее даже нам на прочтение и никак не хотела помириться на проповедывавшейся там высокой роли женщины в семье и школе. Женщину она считала, не то шутя, не то серьезно, венцом создания и видела в ее подчиненности мужчине великую несправедливость. Путь, которым пошла впоследствии русская женщина, чтобы стать на самостоятельную ногу, был тогда еще закрыт; подчиненное положение женщины она признавала с болью в сердце безвыходным и ожидала в будущем, в общем прогрессе просвещения, лишь смягчения ее участи. Понятно, что при таких задатках образованность в мужчине и умственный труд имели в ее глазах большую ценность. Не в обиду нам, военным, она ставила университетское образование очень высоко и считала Московский университет стоящим впереди всех прочих — имя Грановского услышал я впервые от нее. Как любезная хозяйка, нашей профессии она не касалась, но едва ли сочувствовала ей — времена были тогда для России мирные, защищать отечество нам не предстояло, и формула «готовь войну, если хочешь мира» не была еще в таком ходу, как ныне. Мысли ее шли в сторону служения ближнему, и в этом смысле она относилась очень сочувственно к профессии медика.

Я нарочно выписал эти немногие отрывки из вечерних бесед на Подоле, потому что именно они запали мне глубоко в душу. Возможно, что приведенные взгляды О. А. не возымели бы на меня большого действия, если бы высказывались докторально, с целью поучения. Но она не имела замашек ученой женщины, держала себя на равной ноге с нами и высказывала свои взгляды случайно, вскользь, среди обычных общих разговоров и споров, сохраняя лишь неизменно облик живой, увлекающейся, умной и образованной женщины. Нужно ли говорить, что поучения ее, сверх их действительной ценности, запали мне глубоко в душу еще потому, что я в нее влюбился. Под ее влиянием я стал читать, познакомился с ее любимицей Жорж-Санд, прочел с большим увлечением «Фауста» Гете, восхищался «Вильгельмом Теллем» Шиллера и даже купил полное собрание сочинений Лессинга. О корифеях французской литературы я имел все-таки некоторое понятие, но из немецкой литературы знал только имена писателей, а английского языка не знал тогда вовсе.

Любовь свою я скрывал столь тщательно, что за все время знакомства не встретил ни на чьем лице из присутствовавших ни единой подозрительной улыбки. Вернее, впрочем, то, что всем вечерним собеседникам — ей, ее брату и М.— моя тайна была известна; но они смотрели на меня справедливо, как на маль-

чика (мне шел во время этого знакомства 20-й год), который умел держать себя прилично и которому первая юношеская любовь полезна. Это я заключаю из того, что О. А. была всегда очень ласкова со мной, а между тем в ее женихе М. не было никаких проявлений ревности: вплоть до ее отъезда из Киева мы продолжали ездить с ним ежедневно на Подол, туда и назад вместе. Не знаю, смог ли бы я выдержать характер, если бы знал, что езжу с женихом; но это было от меня скрыто, и я не догадался даже тогда, когда вслед за отъездом О. А. узнал, что М. уехал из Киева в 4-месячный отпуск. Уезжала она, по ее словам, не надолго, и, прощаясь с нею в Броварах, на первой станции от Киева (куда я ездил провожать ее с обоими ее братьями), я думал, что поскучать придется недолго.

Прошло несколько месяцев, в течение которых я, очевидно, жил ожиданиями ее возвращения, потому что ничего не предпринимал, несмотря на то, что в голове давно уже бродила мысль покинуть военную службу. Время подходило к Рождеству. Сижу я раз за картами с своими товарищами по юнкерской школе и слышу вдруг восклицание кого-то из них: «А знаете ли, г-жа (имя рек) вышла замуж за М. и на-днях они будут здесь!» Тут я смутился и выдал себя каким-то несообразным ходом; но меня пощадили, словно не заметили, и игра продолжалась без дальнейших разговоров на эту тему. Через несколько дней молодые действительно приехали, и я был у них с поздравительным визитом. О. А. показалась мне совсем другим человеком — любезной хозяйкой без прежней простоты и даже иной по внешности, в новой прическе, шелковом платье и за серебряным самоваром. Все эти внешние перемены были, конечно, естественны в ее новом положении; и хозяйка, зная мое прошлое, конечно, не могла держать себя так же свободно, как прежде,— она даже ответила на мое поздравление несколько сконфуженно. Но меня грызла, видно, ревность, прием показался мне парадным, натянутым, и я уехал с решением быть у них только еще раз на прощанье.

Вслед за этим я подал в отставку.

По справкам оказалось, что я мог взять увольнительное свидетельство до получения указа об отставке; в Киеве оставаться мне не хотелось, но денег в кармане у меня было очень мало, и просить их из дома я не считал себя в праве, так как покидал службу без всяких переговоров с матерью. К счастью, один из моих товарищей, Владыкин, был человек состоятельный и, уезжая в эти дни домой в отпуск, обещал мне дать взаймы двести руб., выслать мне их из своей деревни. К еще большему счастью, наш бригадный адъютант Тецнер, узнав обо всем этом, предложил мне деньги тотчас. Он сам собирался тогда покинуть военную службу и сочувственно относился к моей отставке. С деньгами в кармане я получил возможность скинуть военную форму и приехал прощаться с О. А. уже в

штатском платье. В этот раз прием был дружеский, меня искренно поздравили с тем, что я оставляю мало обещавшую службу, сочувственно отнеслись к намерению учиться и пожелали мне всяких успехов.

Так кончился киевский эпизод моей жизни.

Выше я назвал Ольгу Александровну моей благодетельницей, и не даром. В дом ее я вошел юношей, плывшим до того инертно по руслу, в которое меня бросила судьба, без ясного сознания, куда оно может привести меня, а из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда итти и что делать. Кто, как не она, вывел меня из положения, которое могло сделаться для меня мертвой петлей, указав возможность выхода. Чему, как не ее внушениям, я обязан тем, что пошел в университет — и именно тот, который она считала передовым!— чтобы учиться медицине и помогать ближнему. Возможно, наконец, что некоторая доля ее влияния сказалась в моем позднейшем служении интересам женщин, пробивавшихся на самостоятельную дорогу.

Встретился я с ней на несколько часов через четырнадцать лет (1864), когда уже был профессором в медицинской академии. Она приезжала с безнадежно больным мужем посоветоваться с петербургскими докторами и именно с С. П. Боткиным. Встреча была, конечно, дружественная, но высказать ей настоящим образом благодарность за все, чем я был ей обязан, не удалось — вспоминать истинную причину ее влияния на мою судьбу в присутствии мужа было неловко.

*

В начале февраля 1850 года мы с моим милым слугой Феофаном Васильевичем отправились из Киева в наше родное гнездо, с. Теплый Стан. По дороге туда завернул в Чембарский уезд Пензенской губ. и погостил недельки две у Владыкина, как было условлено между нами при его отъезде из Киева. Здесь милый Владыкин, зная, что мне предстоит во время учения жить на небольшие средства из дома, уговорил меня выплачивать ему долг маленькими порциями, и долг был выплачен в три года.

Мать встретила отставного прапорщика со слезами, но без единого слова упрека. Она, по ее словам, всегда желала, чтобы кто-нибудь из сыновей пошел по «ученой части», и, зная из моих писем, что я оставляю службу, с тем чтобы итти в университет учиться, мирилась с моей отставкой. Соседи смотрели на этот поступок иначе. Старик Филатов в поучение мне рассказал о своей неудаче на медицинском факультете и закончил рассказ, как теперь помню, следующим двустишием:

Профессоров и лекарей
Душа моя ненавидит, как лютых зверей.

Другой сосед, А. П. П., говорил прямее: «Чего, кума, смотреть на молодчика; пусти его, коли не любит военную службу, по гражданской; наш симбирский губернатор возьмет его, может быть, чиновником особых поручений, благо он у тебя боек, не глуп и знает языки». К довершению всего младший сын Филатова, Николай, учившийся вместе со мной в инженерном училище, кончил курс в верхнем офицерском классе с отличием, поступил в гвардейские саперы, женился в Петербурге на дочери «важного штатского генерала» и имел приехать в это самое лето с молодой женой в тот же Теплый Стан. Как было не болеть сердцу бедной матери! Но вначале она сумела скрыть от меня свое огорчение, а потом, вероятно, поверила моему намерению учиться серьезно и успокоилась. Вскоре мы сделались такими друзьями, что она стала поверять мне такие интимные стороны своей прошлой жизни, которыми ей нельзя было делиться с дочерьми. Едва ли кто из других детей, кроме меня, слышал ее печальную повесть. Во мне же она имела столь участливого слушателя, что почти с испугом закончила одно из своих повествований словами: «Не осуждай (имя), времена тогда такие были». Нужно ли говорить, что другого друга я нашел в моей милой Настеньке. У этой и помысла не было корить меня за отставку; она жалела только о том, что ей не довелось видеть своего воспитанника в сиянии офицерского мундира. Попеняла она мне только один раз, да и то в шутку, с усмешкой, описывая, как по приезде Николая Филатова все дворовые ходили к молодым на поклон и прикладывались к их ручкам — оба они в креслах, он в сиянии гвардейского мундира, а она в парадном платье. Старшую сестру я застал попрежнему скучающей за пяльцами и сошелся с ней лишь много позднее в Петербурге; Варенька превратилась в стройную, веселую и насмешливую барышню, а младшая, Серафима, начинала уже превращаться в чудачку, какой сделалась впоследствии. За время моего отсутствия она была рьяной танцоркой и успела бы сделаться лихой наездницей, но сильно испугалась лопнувшей на скаку подпруги и превратилась в трусиху. В это время у нас в доме жили две бесприютных, по смерти их брата священника, молоденьких поповны (мать взяла их на попечение из любви к их брату), а я застал Серафиму Михайловну потешающейся обучением их светским манерам и танцам. Спали они три в верхнем этаже, в двух соседних комнатах, над спальней матери, и случалось нередко, что обучение танцам происходило среди глубокой ночи. С. просила прощения у матери, если танцы не давали ей спать, но скоро забывала и снова принималась за ночные увеселения. Страстно любила всех вообще животных, преимущественно собак, и воспитывала в этом году волченка.[1] Попади она с детства в хорошие руки, из нее могло бы выйти что-нибудь путное.

[1] Когда волченок подрос, его отдали помещику Андриевскому, который держал его на цепи на псарне. Более чем через год времени нашим слу-

Без указа об отставке ехать в Москву было нельзя, а указ не приходил до начала октября. Помню как теперь, что желанная бумага попала мне в руки в то время, как я читал в последней полученной книжке «Современника» письмо Анненкова из провинции, где описывалась Барышевская слобода. Помню также, что дня за три до отъезда стал падать снег, установился санный путь и я с моим неизменным слугой доехал до Москвы на санях. На городской заставе нужно было предъявлять паспорт. Его вынес из караулки старый чиновник и, подавая мне бумагу, покачал головой со словами: «Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю да в столицу прожигать родительские денежки».

чилось проезжать через село, где содержался волченок. Серафима пожелала его видеть, отправилась на псарню, и, как только обратилась к заключенному с привычным окликом «волчуша», волк с радостью бросился к ней.

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(1850—1856)

Остановились мы на каком-то подворье, недалеко от Охотного ряда, и почти сейчас же отправились вдвоем отыскивать квартиру поблизости к университету. На Моховой, почти против университета, отдавалась в надворном флигеле комната у торговца яблоками; но она оказалась неподходящей — пришлось бы и господину и слуге жить в одной комнате. Пошли по Никитской и нашли квартиру в Хлыновском тупике, в церковном доме Николы Хлынова, у пономаря этой церкви. Квартира была в первом этаже и состояла из двух комнат: полутемной прихожей и кухни вместе и комнаты в два окна, с окнами в переулок. Последняя комната была разделена сплошной перегородкой, и в одной половине ее поселился я, а Феофан Васильевич в той части первой комнаты, которая служила прихожей. Он был башмачник по ремеслу, но до приезда в Москву не занимался своим искусством — в Киеве он наживал деньги набивкой папирос для офицеров. Здесь же, вскоре после нашего прибытия, в его комнате завелись все принадлежности башмачного искусства, и он засел за башмаки для церковных дам Николы Хлынова. Шил он, очевидно, очень дешево и крепко и сумел, вероятно, услужить хозяевам чем-нибудь другим, потому что хозяйка взялась варить нам наш немудрый обед из нашего материала бесплатно. Для меня это было очень важно, потому что в этом и следующем году приходилось очень экономить — из 300 р., получавшихся от матери, нужно было вносить в университет 50 р., уплачивать часть долга Владыкину и покупать книги (помню с достоверностью, что в первый же год у меня были анатомический атлас Бока и зоологический Бурмейстера). Не знаю, как ухитрялся Феофан Васильевич — забота о прокормлении лежала на нем,— но еда нам обоим в течение месяца обходилась редко дороже пяти рублей.[1] Возможно,

[1] Обед мой, впрочем, соответствовал такому расходу: два раза в неделю щи с куском говядины, в прочие дни: 6 яиц всмятку, колбаса, гречневая каша с молоком, картофель с квасом и огурцами. Чай я пил только раз в две недели после бани, а утром съедал калач из муки 2-го сорта в 1½ коп. Изредка лакомился яблоком-боровинкой; и вкус к этому яблоку сохранился у меня доселе.

что он питался на свои деньги или даже прикладывал их к моей пище, потому что отношения между нами были приятельские и он любил меня. Весь этот год я находился в сильно повышенном настроении, ходил только на лекции в университет, а дома сидел за книгами до позднего вечера. Единственное окно моей полукомнаты выходило в переулок и было настолько низко от земли, что ребята повадились заглядывать ко мне с улицы в окно. Это побудило меня завесить нижнюю часть окна занавеской, и она не снималась вплоть до переезда на другую квартиру. Помню, что эта неважная обстановка нисколько не тяготила меня — был постоянно занят, сыт, и комната была теплая. Куда хуже живут и теперь многие студенты.

Не помню, каким образом я узнал, что в Москве живет одна из моих двоюродных сестер, пожилая вдова Анна Дмитриевна Тухачевская (дочь Дмитрия Алексеевича Сеченова), и кто ввел меня к ней; но знаю, что я ходил к ней уже в этом году по воскресеньям, всегда заставал там пожилого господина Зверева с немолодой уже дочерью и вечера всегда проводил за безденежным преферансом. О другом, очень важном для меня знакомстве скажу ниже.

Когда я пришел в канцелярию университета с вопросом, что делать, чтобы меня приняли студентом на медицинский факультет (в октябре!), мне, конечно, ответили, что теперь, подав просьбу ректору, я могу записаться лишь вольным слушателем, а в студенты могу быть зачислен лишь в будущем году по выдержании вступительного экзамена. Нечего делать, поступил вольным слушателем с мыслью посещать лекции первого курса и готовиться исподволь к вступительному экзамену. Анатомию читал тогда профессор Севрук ежедневно с 8 до 10 час. утра; поэтому первая лекция, на которую я пришел, была его. Прихожу и слышу к немалому моему огорчению, что он читает по-латыни. Меня это, конечно, озадачило, потому что в памяти из детских лет осталось только уменье читать по-латыни, склонение таких простых вещей, как mensa, да разве нескольких времен из глаголов. Вскоре, однако, опасения рассеялись, когда я приобрел учебник анатомии и атлас; особенно же, когда дело дошло на лекциях до миологии, потому что здесь все дело сводилось на описание начала и конца мышц в следующей неизменно повторявшейся форме: такая-то мышца (имя рек) incipitur ab... (какой-нибудь выступ на кости), adscritur... (выступ на другой кости).

Как бы то ни было, но пришлось подумать об изучении латинского языка, а в какой степени нужно было изучить его для вступительного экзамена и для дальнейших университетских лекций, я не знал. Выручило меня из этого затруднения знакомство со студентом филологом Дм. Визаром, научившим меня как приняться за дело. Он был в одно из предшествующих лет в наших краях на кондиции в семействе, знакомом моим домашним, и я узнал о его существовании дома перед

отъездом в Москву, встретился с ним у другого студента, юриста Самойлова, родственника тех, где он учил. Оба они приняли, конечно, участие в желавшем учиться отставном инженере, и я стал бывать у них. Отец Дмитрия Визара, старик француз, был учителем французского языка в институте при воспитательном доме, имел казенную квартиру и жил с двумя старшими сыновьями и двумя дочерьми, а мать держала маленький пансион около Донского монастыря и жила в тех краях с младшим сыном. С этой семьей я прожил в величайшей дружбе все шесть лет моего пребывания в Москве и обязан ей очень многим. В их доме довершилось, можно сказать, мое воспитание, начатое в Киеве Ольгой Александровной. Чтобы понять это, достаточно будет сказать, что в семье царствовало поклонение Грановскому — одно время Дм. Визар был даже его домашним секретарем, а старшая из сестер жила некоторое время в семействе Фролова (переводчика «Космоса» Гумбольдта), близкого друга Грановского.

Главой дома был старший брат, добрейший, благороднейший Владимир Яковлевич, — по смерти отца у него остались на руках сестры, молоденькие девушки, приготовлявшиеся дома к экзамену на звание домашней учительницы. Я застал его уже чиновником, служившим, по окончании университета, в опекунском совете, но без малейшего чиновнического отпечатка. Живой, бодрый, неизменно веселый, он, как истинный глава семейства, был примерным для нас скромником во всех отношениях; очень любезен с дамами, но по-братски, без малейшего намека на ухаживание; жил, очевидно, для семьи, потому что вне дома ходил к одному лишь старому приятелю, и настолько заботился о своих сестрах, что одна приятельница их семьи называла его не иначе, как мамаша. У себя дома, в кругу приятелей, он действительно походил на милую, добрую, веселую хозяйку. Единственной его мужской страстью была охота с ружьем.

Дмитрий Визар был совсем другой человек. В сущности такой же добрый, как брат, но без его девической чистоты и мягкости, он принадлежал к тому типу нервных, неуравновешенных людей, которые способны впадать в крайности — от мрака переходить к порывам веселья, от серьезного дела к кутежу. Будучи слушателем на филологическом факультете, составлявшем тогда красу и гордость Московского университета, он учился с увлечением, зачитывался книгами[1] и готовил себя к ученой карьере. Когда бывал в духе, отличался большим остроумием, охотно делился впечатлениями, выносимыми из книг и с лекций,— был, так сказать, соединительным звеном между университетом и своей семьей, внося в нее веяния уни-

[1] По окончании университета он выдержал экзамен на магистра и стал готовиться к диссертации. Здесь страсть к чтению его погубила: он зачитался до такой степени, что не смог написать диссертацию — начинал несколько раз и несколько же раз истреблял написанное. Стал нелюдим, никуда не показывался и в конце концов покончил с собой.

верситетской жизни. А университет играл тогда в Москве очень видную просветительную роль, и Москва его любила — не то, что ныне, когда университет стараются оградить от общества китайской стеной чиновничьих регламентов.

Музыка была представлена в этом доме учительницей старшей сестры,[1] госпожей Протопоповой, очень хорошей музыкантшей, вышедшей впоследствии замуж за А. П. Бородина, химика и автора «Игоря». Наконец, литература была представлена вхожим в дом Аполлоном Григорьевым.

Легко понять, что знакомство с такой семьей было для меня большим счастьем, особенно если принять во внимание, что медицина тогдашнего времени, как наука, содержала в себе очень мало культурного.

Лето 1851 г. я прожил в Хлыновском тупике, готовясь к вступительному экзамену. В латыни преуспел настолько, что, прочитав почти все «Метаморфозы» Овидия, обращался к Визару за помощью лишь изредка. По истории готовился по учебнику Лоренца, который был дан мне кем-то на столь короткий срок, что я должен был делать из него выписки. Занятия эти отняли вообще столько времени, что я уже давно свыкся с мыслью поступить, по выдержании экзамена, на 1-й курс.

Из маленьких эпизодов на экзамене помню следующие. По истории экзаменовал Грановский; отвечал я, должно быть, неважно: экзаминатор все время молчал и поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему «Любовь к родителям». Я написал о значении матери для Шиллера и Гете. Экзаминатором был Буслаев. Прочитав мое сочинение, он спросил, читал ли я Гете и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. Из математики экзаменовал проф. Зернов (отец теперешнего анатома). Помню, что я вытянул билет о подобии треугольников. В эту минуту подле Зернова сидел тогдашний декан медицинского факультета Анке, который имел неосторожность заметить: «Что экзаменовать г. Сеченова, ведь он инженер». На это Зернов осерчал: «Если хотите, я экзаменовать не буду». Анке, конечно, поспешил исправить ошибку, и условия подобия треугольников были изложены удовлетворительно. Из латыни заставили перевести несколько строчек из Саллюстия.

По окончании экзамена мы с Феофаном Васильевичем перебрались на новую квартиру на Патриаршем пруде в доме с мезонином, выходившем передним фасадом на пруд (по выходе из Малой Бронной сейчас налево, второй дом). Квартира наша состояла из двух комнат и передней, моя выходила окном на пруд. Когда, после года жизни в полутемной комнате, успокоенный от экзаменационных тревог, я открыл впервые это

[1] Леонида Яковлевна, тогда молоденькая красивая девушка, большая моя приятельница, вышедшая потом замуж за моего товарища Владыкина, изучавшая потом в Берне медицину, вернувшаяся оттуда доктором и занимавшаяся медицинской практикой в Москве.

окно, Патриарший пруд показался мне, я думаю, краше виденных мною впоследствии швейцарских и итальянских пейзажей. Помню, что окно это долго служило для меня источником наслаждений, и благодаря этому в памяти сохранилось несколько лиц, гулявших ежедневно по аллеям вокруг пруда. Помню, напр., соседа по дому, г. Кутузова, человека средних лет, с военной выправкой, гулявшего всегда с хлыстом в сопровождении бульдога, «Гришки» по имени; помню цыганок, гулявших в ярких нарядах, и между ними одну прямо-таки красавицу. К женскому полу я был тогда равнодушен — голова была сильно занята другими вещами, да в сущности я все хранил в душе киевские воспоминания. Поблекли они лишь через два года по выезде из Киева, когда я был уже на 2-м курсе.

Очень оригинальна была моя третья квартира в одном из переулков, выходящих на Б. Никитскую. Хозяин ее был лежавший в параличе князь Голицын. Из своей маленькой квартиры он отдавал одну комнату (в которой жил я) и кухню (в которой жил мой слуга). Князь был в таком стеснительном положении, что в лавке, откуда бралась провизия для его стола, ему уже ничего не давали, и он питался исключительно чаем, так как булочная еще не закрыла для него своих дверей. Плата за квартиру была, конечно, помесячная и вперед. Тем не менее вскоре после того, как я поселился у него и заплатил должное вперед, получаю от него записку на французском языке, где с большими извинениями бедный князь просит дать ему в счет будущего пять руб. Желание его было исполнено, и я узнал в этот же или на другой день, что он посылал в английский клуб за варенцом. Стряпала нам жившая при князе прислугой женщина, наподобие того как стряпала хлыновская пономариха, и была по всем видимостям довольна — все же перепадали ей время от времени, вместо неизменного чая с хлебом, кусок говядины, молоко, яйца и картофель.

В течение этого года была выплачена последняя часть долга Владыкину, и с переходом на 3-й курс я стал богатым человеком благодаря укоренившейся привычке жить экономно.

Теперь расскажу, как нас учили на первых двух курсах. Кроме анатомии и богословия, на 1-м курсе преподавались одни естественные науки: физика, химия, ботаника, зоология и минералогия.

Профессор анатомии Севрук был анатомом старого закала. Читая по-латыни, он не мог, конечно, вдаваться в рассуждения; гистологию (тогда отдельной кафедры гистологии еще не существовало) не только оставлял в стороне, но даже относился к ней скептически (это мы слышали не раз на его лекциях); поэтому он неизменно оставался в сфере точного описания макро-анатомических подробностей человеческого тела. В этих пределах он был хорошим преподавателем и — что очень важно — прочитывал в течение года все отделы анатомии с одинаковой подробностью (не так, как это делается теперь); по-

тому-то к следующему году его слушатели были уже приготовлены к занятиям анатомической практикой по всем отделам анатомии.

Прослушав два года курс анатомии, я настолько ознакомился с предметом, что возымел мысль раздобыть денег переводом учебника Гиртля, и летом 1852 г. в Теплом Стане перевел несколько листов этой книги. По возвращении в Москву обратился к проф. Севруку с вопросом, могу ли я надеяться на издание книги, если он примет перевод под свое покровительство; но профессор покровительствовать отказался, говоря, что читает по Боку.

Богословие читал очень важный с виду священник университетской церкви, протоиерей Терновский, считавшийся ученым богословом, — он написал учебник, в котором богословские тезисы, выводимые из священного писания, подкреплялись доводами разума. На лекциях он зорко следил за благочинием своей многочисленной аудитории, — его слушали первокурсники всех факультетов разом, и не даром. На одной из лекций рассказывал нам о грехопадении прародителей; и вдруг среди общей тишины раздается «щелк».

«Господин Малинин (не будущий ли Малинин и Буренин учебника физики?), — прерывает свою речь протоиерей, — я рассказываю вам о событии, столь пагубно отразившемся на судьбах человечества, а вы грызете орехи. Извольте итти вон». На экзамен из его предмета приехал в этом году (1852) митрополит Филарет. О его приезде знали, вероятно, наперед, потому что в аудитории, где происходил экзамен, его прихода ждали несколько посторонних лиц и между ними историк С. М. Соловьев, чтобы подойти под благословение знаменитого владыки. Пробыл он недолго, и я видел только издали его маленькую сухощавую фигуру в лиловой рясе с белым клобуком.

Физика (проф. Спасский, автор «Климата Москвы») читалась очень элементарно (полный курс в один год) и с очень малым количеством демонстраций, потому что аудитория не была приспособлена к этому: в большой зале (так называлась большая аудитория во втором этаже с парадного входа), без амфитеатра для слушателей, стоял на большом возвышении небольшой стол и больше ничего. Учились мы по учебнику Ленца.

В той же аудитории и за тем же столом восседал добрейший профессор ботаники Фишер ф.-Вальдгейм. Читал он невыразимо скучно, по какому-то древнему французскому учебнику (кажется, Ришара), и, в противность протоиерею Терновскому, относился к порядкам в аудитории индифферентно. На лекции к нему ходило, вместо ста человек слишком, не более десяти-пятнадцати; и за весь год мы слышали от него только раз следующее наставление: quidquid agas finem respice, ut bene agis, да еще стереотипную фразу: tres faciunt collegium (которую он произнес, впрочем, с улыбкой, потирая по обыкновению руки в начале лекции), когда раз число слушателей сократилось до

трех. Его добротой немилосердно злоупотребляли на экзамене, отвечая не по вытянутым, а по собственным билетам.

Зоологию преподавал нам адъюнкт Варнек. Читал он просто и толково, останавливаясь преимущественно на общих признаках принятых в зоологии отделов, и описанию одноклеточных предпослал длинный трактат о клетке вообще. Последнее учение падало, однако, на неподготовленную почву — Москва еще не думала тогда о микроскопе; поэтому между студентами Варнек не пользовался успехом, и в насмешку они даже прозвали его клеточкой.[1] Тогда восторги были обращены в сторону проф. зоологии Руллье, который любил философствовать на лекциях и читал очень красноречиво.

Минералогия читалась Щуровским, без кристаллографии и в таком виде, что о его лекциях ничего не осталось в памяти.

Практическими занятиями в анатомическом театре заведывал добрейший прозектор Иван Матвеевич Соколов (Севрук на эти занятия не заглядывал). Я и двое товарищей по курсу, Юнге и Эйнбродт, занимались у него не только по утрам, в назначенные для всех часы, но и по вечерам, что допускалось. Вечером вместе с нами работал и сам Ив. Матв., приготовляя препарат к следующему дню на лекцию Севрука. Делу своему он предавался с большой любовью, отделывал препараты с величайшей тщательностью, стараясь придавать им красоту, с каковой целью отпрепаровывал налитые кровеносные сосуды до едва видимых глазом веточек и смазывал мышцы кровью. Был вообще, как прозектор того времени, на месте. По выслуге Севрука (уже после моего выхода из университета) сделался профессором анатомии и даже читал один или два года физиологию (по выбытии из университета проф. Глебова), но, прослужив двадцать пять лет, не был избран на пятилетие и остался без дела. В этом положении он поехал в Петербург хлопотать о месте и, будучи без всяких связей, обратился к Боткину и ко мне (мы были тогда профессорами медицинской академии) с просьбой помочь ему в приискании места. К своей просьбе бедный Иван Матвеевич прибавлял: «привыкнув всю жизнь мою анатомировать, я полез на стену, когда остался без дела; от скуки начал даже анатомировать жуков и тараканов».

Кроме практических занятий по анатомии, нам читали на втором курсе органическую химию, сравнительную анатомию, физиологию, фармакогнозию, общую патологию и терапию и, кажется, на этом же курсе, энциклопедию медицины.

Сравнительную анатомию и физиологию читал профессор Иван Тимофеевич Глебов (перешедший по выслуге лет в Петербург вице-президентом медицинской академии), человек несомненно очень умный и очень оригинальный лектор. Излюблен-

---

1 Много позднее я узнал, что Варнек и известный ботаник Ценковский были из числа первых русских биологов, работавших в те времена с микроскопом.

ную им манеру излагать факты можно сравнить с манерой судебного следователя допрашивать обвиняемого: именно, существенный вопрос, о котором заходила речь, он не высказывал прямо, а держал его в уме и к ответу на него подходил исподволь, иногда даже окольными путями. Как человек умный, свои постепенные подходцы он вел с виду так ловко, что они получали иногда характер некоторого ехидства. Таков же он был и на экзамене, вследствие чего студенты боялись его как огня, — мне даже случилось раз видеть на экзамене одного из своих товарищей спрятавшимся под скамейку, чтобы не быть вызванным после погрома, претерпенного его предшественником по алфавиту.[1] Ехидная манера экзаменовать была нам, конечно, не по сердцу; но соответственная манера читать лекции не могла не нравиться, и лично для меня Иван Тимофеевич был одним из наиболее интересных профессоров. Из сравнительной анатомии нам сообщались лишь отрывки (органы пищеварения, кровообращения, дыхания и локомоции); но они сами по себе, как вся вообще сравнительная анатомия, настолько красивы и излагались настолько ясно, что на 2-м курсе я мечтал в будущем не о физиологии, а о сравнительной анатомии. Дело другое, если бы Ив. Тимоф. читал физиологию по существовавшему уже тогда знаменитому учебнику Иоганна Мюллера; но этого не было. Он, очевидно, придерживался французов. Это я заключаю из того, что в его лекциях и помина не было о том, что физиология есть прикладная физико-химия, а также из того, что лягушка не являлась на демонстрациях и ничего не говорилось об электрическом раздражении нервов и мышц, хотя Германия давно уже была полна этих опытов (в 1850 г. явилось знаменитое измерение быстроты распространения возбуждения по нерву великого Гельмгольтца). Из его лекций мы не узнали даже такого факта, как остановка сердца возбуждением бродящего нерва. Единственные опыты, которые остались у меня в памяти: убитая на наших глазах вдуванием воздуха в вены собака, демонстрация на ней млечных сосудов и длинный ряд голубей с булавочными проколами головного мозга (проколы производились ассистентом Глебова, Орловским), которые раздавались нам, с тем чтобы мы описывали произведенные операцией нарушения локомоции и чувствительности.

Фармакогнозию читал проф. Лясковский и, вероятно, скучал на этом мало занимательном для него предмете (он, как известно, учился за границей, в Гиссене у Либиха, и занимался у него

[1] В этом году много разговоров между студентами возбудил экзамен у Глебова на звание доктора младшего прозектора по анатомии Б. Вытянул он очень простой билет — о свертывании крови, но, должно быть, сильно оробел, потому что, сказав: «если возьмем палочку» (этими словами начинался в записках Глебова трактат о свертывании крови), замолчал и не смог ответить на последовавшие затем два вопроса профессора: что же будет, если взять палочку, и что будет, если не взять палочку. Не получив ответа на последний вопрос, профессор показал в списке рядом с фамилией единицу и сказал ему: «Вот что будет».

проверкой протеиновой теории Мульдера), потому что прочел нам с демонстрациями полный курс качественного анализа.

Органическую химию читал Говортовский.

В область медицины вводил нас профессор патологической анатомии Алексей Иванович Полунин, читавший на 2-м курсе раз в неделю очень маленький курс общей патологии и терапии. В те времена еще не существовало ни экспериментальной патологии, родившейся в Германии из успехов физиологии, ни учения о заразных болезнях, поэтому распространяться на этих лекциях было едва ли возможно. Как ученик Рокитанского, Алексей Иванович был приверженец гуморальной патологии, и лекции его заключались в сущности в перечислении установленных венской школой общих методов лечения; в рассуждения он вообще не любил пускаться.

У студентов медиков Алекс. Ив. считался едва ли не самым ученым из медицинских профессоров; издавал, кажется, медицинскую газету, бывал чуть ли не на всех диспутах (которые велись тогда на латинском языке) оппонентом и слыл вообще крайне трудолюбивым работником. О степени его учености судить я не берусь; но не могу не заметить, что ему, как профессору патологической анатомии, следовало бы знать в 1855 — 56 году (когда мы были на 5-м курсе) о Вирхове и его целлюлярной патологии, а между тем мы не слышали о них ни слова и ни разу не видели в его руках микроскопа. Что же касается до трудолюбия Алекс. Ив., то я имел случай слышать похвалу ему в этом направлении от его товарища по университету, профессора детских болезней Николаева. Сей последний был домашним врачом в доме Данилы Даниловича Шумахера и, рассказывая там о своем студенчестве, упомянул между прочим, что он и Ал. Ив. были не только однокурсники, но даже учились вместе. По его словам, учение давалось Ал. Ив. вообще туго, но он все превозмог настойчивым трудом и терпением. Так, в родах механизм прорезывания головки при выходе из таза не давался ему недели две, но в конце-концов он все-таки преодолел. Я был свидетелем этого рассказа и удостоверяю, что он был проникнут искренним намерением Николаева воздать хвалу своему товарищу.

Профессор Армфельд, читавший нам энциклопедию медицины, производил на своих лекциях впечатление очень умного и образованного человека; держал себя джентльменом, говорил спокойным, ровным голосом (даже несколько монотонно) и так, что речь его, будучи записана слово в слово, могла бы быть напечатана без поправок. Помню, что в общем смысл его лекций был таков: упомянув о добровольно принятой нами и предстоящей в будущем святой обязанности служить больному человечеству, он обозревал преподаваемый нам круг наук, как средство достижения цели, и обещал честно потрудившимся в награду чувство исполненного долга, а отличившимся — счастье учиться за границей. Замечательно, что его лекций по судебной

медицине я совсем не помню, знаю только, что, познакомив нас с формой судебно-медицинского свидетельства, он требовал от каждого из нас написать таковое на самим собой избранную тему; да и это немногое сохранилось у меня в памяти благодаря лишь тому свидетельству, которое было написано мною и было, так сказать, моим первым писательским опытом.

На 5-м курсе я жил в Мясном переулке, на Драчевке, и насупротив окон моей комнаты, выходивших в переулок, в маленьком домике с мезонином часто видел у окна за работой миловидную девушку, которая сидела к окну всегда боком и работала, не поднимая головы. По поводу того, что она сидела к окну боком и никогда не повертывалась лицом на улицу, у меня не раз мелькала мысль, что, должно быть, есть какой-нибудь порок у нее, в той половине лица, которая остается скрытой для зрителя с улицы. Эта мысль послужила канвой для написанного свидетельства. Сидевшая против меня девушка превратилась в бедную швею с очень красивой левой половиной лица и большим родимым пятном на правой щеке; в квартире против ее окна поселился красивый предприимчивый юноша, увлекшийся красивым профилем швеи, и начал, конечно, подступы. К несчастию для девушки, она сильно влюбилась в этого юношу, любуясь им через завешенное окно и слыша его медоточивые речи. Кончилось тем, что он все-таки увидел ее безобразную правую щеку и был настолько бессердечен, что при этом виде рассмеялся и прекратил ухаживанья, а бедная девушка сошла с ума и сделалась объектом судебно-медицинского исследования.

На первых двух курсах я учился очень прилежно и вел трезвую во всех отношениях жизнь; а с переходом на 3-й курс свихнулся в самом начале года в сторону и от медицины и от трезвого образа жизни.

Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал, — вместо теорий голый эмпиризм.

Первым толчком к этому послужили лекции частной патологии и терапии профессора Николая Силыча Топорова, — лекции по предмету, казавшемуся мне самым главным. Он рекомендовал нам французский учебник Гризолля и на своих лекциях очень часто цитировал его словами «наш автор». Купив эту книгу, начинающуюся, сколько помню, описанием горячечных болезней, читаю... и изумляюсь — в книге нет ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов болезни, ее исходов и способов лечения; а о том, как из причины развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, ни слова. Думаю: видно, Николай Силыч и Гризолль устарели, пойду-ка я к медицинской звезде, Алексею Ивановичу Полунину, и спрошу его, по какой книге мне учиться. Алексей Иванович действительно не одобряет Гризолля и говорит мне: «возьмите-с сочинение Канштатта». Бегу к единственному тогда немецкому книгопродавцу Дейбнеру (кажется,

на Б. Лубянке) и узнаю там, что сочинение Канштатта стоит ни много ни мало 30 руб. — это для студента, живущего на гроши! Нечего делать, остался при Гризолле, и благо мне, потому что узнал вскоре, что и у Канштатта не много по части интересовавших меня вопросов. Нужно, впрочем, отдать справедливость лекциям Николая Силыча: для тех, кто не ожидал от него, как я, теории болезней, они могли быть даже поучительны, потому что, будучи большим практиком,[1] он много говорил о виденных им интересных случаях.

Понятно, что и на лекциях фармакологии и рецептуры, читавшихся на латинском языке нашим деканом, Николаем Богдановичем Анке, не было речи о том, как действуют лекарства на организм, — экспериментальная токсикология только что начинала развиваться в Германии; в самом счастливом случае говорилось лишь о том, против каких симптомов болезни употребляется данное средство; обыкновенно же описание заканчивалось фразой: такое-то вещество *maxime laudatur* в таких-то болезнях. Хорошо еще, что Николай Богданович строго придерживался в своих лекциях рекомендованного им немецкого учебника Oesterlen'a. Приобретя таковой, как сделал я, изучение фармакологии можно было отложить до весны следующего года, т. е. до времени переходных экзаменов. Но для тех из товарищей, которые уже мнили себя будущими практиками, лекции фармакологии были очень важны: они тщательно записывали диктовавшиеся рецепты и дозы; некоторые же прямо-таки увлекались приобретенным умением писать рецепты с подписью своего имени латинскими буквами.[2]

Третий предмет на 3-м курсе читал профессор Басов (имени не помню), известный немцам тем, что первый в Европе сделал желудочную фистулу собаке (с какой целью, не знаю). Читал он по собственным литографированным запискам, где все относившееся к болезни было разбито на пунктики под номерами. Случалось, что звонок, кончавший лекцию, останавливал ее, на-

---

[1] Впоследствии, когда мы с Боткиным вспоминали наше студенчество, он всегда отзывался о Николае Силыче как очень умном человеке и хорошем практике. Некоторую отсталость его он оправдывал словами якобы самого Николая Силыча: «Зачем нам термометры да микроскопы, была бы сметка, мы и без них нажили Топоровку» (на Мал. Молчановке были два дома Топорова, и эту улицу медики прозвали Топоровкой).

[2] Юнге и я, по окончании нами докторского экзамена, пригласили Николая Богдановича на обед, угостили его любимым им портвейном и наслушались не мало игривых описаний университетских событий. Один из рассказов касался его тестя, жившего у Смоленского рынка. Николай Богданович был стрелок, а тесть его, выдавая себя таковым, возвращался однако с охоты не иначе, как с зайцем или птицей, купленными на рынке. Раз Николай Богданович пригласил тестя поохотиться вместе за Дорогомиловым в кустах. Приведя его на место, Анке отошел в сторону и спрятался за кустом. Слышит выстрел. Что такое? Иван Карлович убил зайца. Молодец, говорю. Подходим. Действительно, убитый заяц, и между зубами бумажка. Иван Карлович развертывает бумажку и читает: «Здравствуйте, Иван Карлович!»

пример, на 11-м пункте перечисления болезненных симптомов. Тогда в следующую лекцию Басов, сев на кресло, почешет нижнюю губу, улыбнется и начинает: 12-е, т. е. начинает с пунктика, до которого была доведена предшествующая лекция. Нужно ли говорить, что чтения происходили без всякой демонстрации и без малейшего повышения тона. С таким же характером читалась им и офтальмология. Чтобы показать, как действует рука оператора при операции снятия катаракта, он завертывал губку в носовой платок, придавал этому объекту, зажатому в левой руке, шарообразную форму, а правой узкой производил все оперативные эволюции. На докторском экзамене у него я чуть не провалился. Досталась мне иридектомия, и все пунктики до предпоследнего были перечислены; но последний выпал из памяти, и я остановился. Последовал вопрос: «еще что?» Думал, думал, и, наконец, меня озарило: «рвота!» Это был последний пункт в его учении о последствиях иридектомии, не постоянный, но иногда случающийся и очень опасный.

Таково было мое первое знакомство с так называемыми главными теоретическими медицинскими предметами, разочаровавшее меня в медицине как науке. К изучению их интереса у меня не было: руководства по всем трем предметам для предстоящих в будущем экзаменов имелись, и я стал заниматься посторонними вещами. В этом году, чуть не рядом с аудиторией (в новом здании), где читали Топоров, Анке и Басов, читалась Петром Николаевичем Кудрявцевым история реформации; и я прослушал весь этот курс с таким же восхищением, с каким читал позднее его «Римских женщин по Тациту», в Пропилеях, изданных Леонтьевым. Помню, как теперь, его худое, бледное лицо, неопределенно устремленный в пространство, словно вдохновенный, взгляд, и его тихую красивую речь, когда он описывал борьбу в душе монаха-аскета Лютера. Грановского я слышал всего один раз, но он произвел на меня далеко не такое впечатление, как Кудрявцев. Жаль, что я не записывал тогда своих впечатлений, — теперь, через пятьдесят лет, от них остались на душе только слабые тени.

Освободивши себя на 3-м курсе от занятий медициной, я принялся изучать психологию. К числу обычных воскресных посетителей семейства Визаров принадлежал студент естественного факультета Михаил Иванович Иванов, великий почитатель Руллье. От него я узнал о существовании немецкого психолога Бенеке, сочинения которого были, так сказать, водворены в Московский университет Катковым, заинтересовали Руллье и стали предметом увлечения почитателя последнего, Михаила Ивановича. Рассказы его возбудили и во мне интерес к психологии: я купил два сочинения Бенеке: «Psychologische Skizzen» и «Erziehungslehre», и засел за первое из них настолько упорно, что погрузился по уши в философские вопросы, до того, что меня начали, наконец, дразнить у Дан. Дан. Шумахера, будто я дока-

бываю по Гегелю, что свет и тьма одно и то же. Как бы то ни было, но, начитавшись Бенеке, где вся картина психической жизни выводилась из первичных сил души, и не зная отпора этой крайности со стороны физиологии, явившегося для меня лишь много позднее, я не мог не сделаться крайним идеалистом и оставался таковым вплоть до выхода из университета. Это я помню по следующему случаю. Будучи на 5-м курсе, я получил раз от проф. Пикулина (он был женат на сестре С. П. Боткина и знал обо мне, конечно, от последнего) приглашение к нему на вечер, где между гостями были профессор Мин и тогдашний издатель «Московских Ведомостей» Евгений Корш (отец теперешнего академика). На этом вечере велись жаркие психологические споры. Мин был последователем энциклопедистов и доходил до того, что считал психику родящейся из головного мозга таким же образом, как желчь родится из печени; а Евгений Корш и я были защитниками идеализма.

Однако увлечения философским идеализмом не спасли меня от увлечений в материальную сторону. Змеем искусителем для Дм. Визара и меня был Аполлон Григорьев. Добрый, умный и простой в сущности человек, несмотря на несколько театральную замашку мефистофельствовать, с несравненно бо́льшим литературным образованием, чем мы, студенты, живой и увлекающийся в спорах, он вносил в воскресные вечера Визаров много оживления своей нервной, бойкой речью и не мог не нравиться нам, тем более что, будучи много старше нас летами, держал себя с нами по-товарищески, без всяких притязаний. Каким он был в своих писаниях, сотрудничая в «Москвитянине», я не знаю, но на вечерах у Визаров он не являлся ни врагом западников, ни отъявленным славянофилом, поклонялся лишь нравственным доблестям русского народа и любил даже декламировать некоторые соответственные стихи Некрасова, часто удивляясь, как мог он писать такие прелестные вещи при его внутреннем содержании. Преимущественно же носился со своим приятелем Островским, считая его восходящей яркой звездой русского театра. В тот год, когда Островский только что написал «Бедность не порок», он читал свое произведение, еще в рукописи, в доме отца Григорьева, куда и мы были приглашены Аполлоном. Он же устроил в квартире Визаров (дом Жемочкина, близ Донского монастыря), с очень большой залой, домашний спектакль «Горе от ума». В этом спектакле сам играл роль Фамусова и Загорецкого; Чацким был Алмазов, Софьей — жена Григорьева, Елизавета Федоровна, урожденная Корш, Лизой — старшая сестра Визар, Молчалиным — Дм. Визар, а я — Скалозубом.

Все эти любезности относились к одной из дам визаровского кружка, к которой Григорьев был неравнодушен. В ее обществе он был всегда трезв и изображал из себя умного, несколько разочарованного молодого человека, а в мужской молодой ком-

пании являлся в своем настоящем виде — кутящим студентом.

В те времена известный любитель русских песен, Тертий Иванович Филиппов (впоследствии государственный контролер), жил в Москве и открыл в ней, в сидельце винного погребка на Тверской улице, превосходного русского певца и гитариста. По его, видно, рекомендации погребок этот сделался местом паломничества любителей русской народности, особенно же тех из них, которые были не прочь выпить под звуки песен национального напитка; а к таким именно принадлежал наш руководитель. В то время, как Григорьев познакомил нас с этим увеселительным заведением, он был там уже свой человек и умел входить в него через задний ход, после того как погребок был для обыкновенной публики давно заперт. Здесь мы познакомились с приятелем Григорьева казеннокоштным студентом Рудневым и через него с целой компанией его сподвижников, живших в Чернышевских номерах, на Театральной площади. Тут за шумными разговорами шло разливанное море, просиживали до поздней ночи. Помню даже, что раз (это было весной 1854 г., накануне воскресенья) мы с Визаром вышли оттуда утром при солнечном свете провожать Руднева в студенческие номера в старом здании университета. Но это был, вероятно, последний акт моей кутежной жизни, имевший место как раз в период переходных экзаменов. Весь год я не брал медицинских книг в руки и должен был настолько приналечь на них во время экзаменов, что пришлось ставить пиявки против приливов крови к голове. Это я помню по инциденту с фельдшером, ставившим мне пиявки. По окончании операции ему понадобилось удалиться в укромное место на дворе нашего дома и, не найдя такового, он попал в угол, ревниво оберегаемый злой собакой, Белкой. В результате получилась изорванная штанина и явственные следы зубов на икре бедного фельдшера. То и другое было демонстрировано мне, с целью, чтобы я свидетельствовал в его пользу на суде, так как хозяин дома отказался уплатить ему за увечье, узнав, что он был поранен, находясь в ненадлежащем месте.

Теперь, когда покончено с главными эпизодами моей жизни на 3-м курсе, уместно будет упомянуть о моем знакомстве с домом Данилы Даниловича Шумахера, в который ввел меня, кажется, в 1853 г. Владимир Яковлевич Визар. Данила Данилович служил тогда в опекунском совете, более крупным чиновником, чем В. Визар, и они были большими друзьями. Семью Шумахера составляли тогда двое — он сам и его жена Юлия Богдановна, родная сестра жены Грановского. По пятницам у них собирались постоянно: Владимир Визар, Александр Николаевич Афанасьев, студент Сергей Петрович Боткин и я. Здесь-то и началось мое знакомство с последним, перешедшее в дружбу уже во время нашего пребывания за границей. За чаем и ужином вечера проходили очень живо. Здесь сохрани-

лось предание о Станкевичевском кружке; много говорилось об оставшихся членах оного, чудаке Кетчере и старшем брате Сергея Петровича, Василии Петровиче Боткине (путешественнике по Испании), о его причудах и роли в боткинской семье; бывала, конечно, речь и об университете, который был тогда в большой немилости у начальства. Душой веселья в этом маленьком кружке был Афанасьев. Он был вообще интересный рассказчик и уморительно смеялся собственным рассказам, как-то через свой огромный нос, и, служа в каком-то архиве, извлекал оттуда много потешного на усладу хозяйке, которая очень любила слушать веселые вещи. Помню, например, его рассказ о том, как императрица Елизавета ездила на богомолье, и о какой-то придворной процессии на лейб-пфердах. Сергей Петрович был в свою очередь очень веселым собеседником и всегда вторил Афанасьеву, который был его учителем русского языка в пансионе Эйнема, где Боткин учился до поступления в университет.

На 4-м курсе я перестал кутить и стал исправно посещать клиники на Рождественке. Здесь нам давали больных на руки, как кураторам, и мы должны были вести историю болезни на латинском языке. Поэтому в наших историях фраза «Status idem» встречалась, я думаю, гораздо чаще, чем следовало, тем более, что нашими записями профессора едва ли интересовались, а тогдашние ассистенты в клинике и того меньше, так как им не было никакого дела до занятий студентов. Сверх кураторства, в терапевтической и акушерской клиниках было заведено дежурство студентов, но настолько необязательное для каждого, что мне, например (я был, впрочем, не студентом, а вольным слушателем), ни разу не довелось дежурить ни там, ни здесь.

Директором терапевтической клиники был знаменитый тогда московский практик Овер — особа, увешанная несметным количеством орденов, но не показывавшая и носа в свою клинику.

За весь год он прочитал нам у постели больного одну лишь лекцию, да и ту на латинском языке. Клиникой заведывал его адъюнкт Млодзеевский.

В эту клинику мы приходили в 8 час. утра и ожидали профессора в комнате, служившей аудиторией. Млодзеевский садился перед нашими скамьями, рядом с ним, стоя, дежуривший в предшествующий день студент, и начинался доклад последнего о поступивших в его дежурство новых больных; при этом нужно было описывать телосложение и возраст больного, его образ жизни и занятия, вероятную причину заболевания, найденные признаки болезни и назначенное лечение.[1] Засим начи-

[1] Не могу не вспомнить одного очень оригинального доклада, сделанного нашим товарищем, студентом Б., кавказцем. Пока речь шла о мужчинах, дело шло благополучно; но в последнем докладе о женщине оказались пропуски, вызвавшие со стороны профессора замечание, что в болезнях женщин играет очень важную роль половая жизнь, и ряд соответственных

нался профессорский обход в сопровождении ассистента и студентов. Если в положении старого больного замечалась, со слов ассистента, важная перемена, то профессор проверял сказанное; а наиболее интересного из новоприбывших исследовал в нашем присутствии, ставил диагностику и назначал лечение. В этом собственно и заключалось все наше обучение. Существовавшему в те времена единственному способу (разумеется, кроме смотрения на языке и щупания живота и пульса рукой) исследования больного, выстукиванию и выслушиванию груди, нас учили в этой клинике на словах, во время обхода, предоставляя нам упражняться в обоих искусствах самостоятельно, без всякого руководства. С этой целью многие студенты ходили в клиники в послеобеденное время и не мало мучили больных. Если же между больными женщинами случались молодые московские мещанки, то к любителям аускультации и перкуссии присоединялись любители женского пола и доводили этих пациенток своими галантерейностями до глупейшего жеманства и жантильничанья. Я имел несчастие быть куратором такой особы, относившимся к ней без галантерейности. За это она платила мне чуть не презрением и отвечала на мои вопросы о здоровье с такой неохотой, что раз я был даже вынужден заметить ей, что беспокою ее своими вопросами по обязанности и что она должна отвечать мне, как приставленному к ней куратору.

Директором хирургической клиники был Федор Иванович Иноземцев, самый симпатичный и самый талантливый из профессоров медицинского факультета. Он принадлежал к тем хирургам, которые ставят операцию не на первый план, а рядом с подготовлением больного к ней и последовательным за операцией лечением. Поэтому он проповедывал, что хирург должен быть терапевтом. На его клинических лекциях мы впервые услышали, что в известные эпохи всегда господствует определенный genius morborum, составляющий основную черту всех вообще заболеваний. Так, во времена Брусса господствовал, по его словам, воспалительный тип, а в настоящее время наблюдается преимущественно плохое питание тела с катарами слизистых путей, следовательно страдает у всех вообще людей заведующая питанием узловатая система. Последнюю мысль Ф. И. вынес, очевидно, со школьной скамьи; но как он дошел до связи катаров с страданиями симпатического нерва, я не знаю. Во всяком случае он веровал упорно в эту мысль и упорно кормил всех пациентов своей клиники нашатырем, как антикатаральной панацеей, говоря иногда на лекциях, что его даже дразнят «салманикой» (в рецептах нашатырь назывался по-латыни sal ammoniacum.[1] Хотя мысль о влиянии сим-

вопросов: Больная — девица или замужем? — Замужем. — Есть у нее дети? — Есть. — Когда был последний ребенок? — Перед свадьбой. Много позднее я тем не менее слышал, что Б. имел хорошую практику в Тифлисе.

[1] Говорили, что непоколебимость веры Ф. И. в нашатырь поддерживалась его помощниками по медицинской практике, называвшимися «молодцами

патического нерва на питание тела и была в ту пору, когда Ф. И. возводил перед нами страдание узловатой системы в genius morborum. скорее расшатана, чем доказана физиологическими исследованиями, но, как хирургу и старому практику, ему было извинительно не знать этого; следовательно, составленная им теория была не хуже других медицинских теорий и во всяком случае свидетельствовала в Ф. И. мыслящего врача, задающегося серьезными вопросами. В ту же сторону говорила и изданная им книга о молочном лечении.

С виду скорее француз, чем русский (он был, кажется, женат на француженке), живой по природе, он иногда увлекался на клинических лекциях, и тогда фразы получали у него порывистый, восклицательный характер и произносились с французским шиком. Хорошее впечатление от всей его фигуры и речей усиливалось крайне ласковым и участливым отношением его к больным, для которых у него не было другого имени, как дружок или мой милый.

На лекциях оперативной хирургии он был совсем другой человек, читал скорее монотонно, чем живо. Кафедры топографической анатомии тогда не было, и ему приходилось описывать послойную топографию различных областей тела. Каков он был хирург, нам не довелось узнать, потому что в этом году не случилось ни одной важной операции, а неважные он отдавал своему адъюнкту.

Адъюнктом его был Иван Петрович Матюшенков, хорошо известный нам по амбулаторным приемам при клинике Иноземцева и как лектор малой хирургии. Из всех наших учителей он один был способен производить на студентов комическое впечатление резким контрастом между его фигурой и ухватками грубого, мало образованного бурсака и видом учености, который он налагал на себя в нашем присутствии, при исполнении им официальных обязанностей. Маска эта так не шла к его внутреннему содержанию, что вместо задуманной ученой серьезности получалась гримаса угрюмой озабоченности, переходившей минутами в свирепость (был, впрочем, по природе не злым человеком). Особенно резко сказывались эти контрасты на амбулантных приемах, где он являлся деятелем и учителем. Амбулаторией служила небольшая комната без скамеек, что побуждало студентов становиться в два ряда коридором, по всей длине комнаты, прямо от входной ее двери. Во главе коридора стоял стол с инструментами и И. П. с полотенцем через плечо, хмурым, озабоченным лицом и наклоненной головой. Больных впускали в коридор поодиночке, и в промежутке между их входами И. П. ходил по длине коридора взад и вперед, рассказы-

---

Иноземцева», которым он давал хлеб и которые постоянно приносили ему известия о чудесах этого средства. Правда ли это или нет, я не знаю; но верно то, что бедный Ф. И. не умел выбирать людей и был окружен в клинике неважными помощниками.

вая нам, что мы видели и что он сделал. Когда в коридоре появлялся больной с ногтоедой на руке, что случалось наиболее часто, И. П., осмотрев руку и возвращаясь от больного к столу с инструментами, говорил походя, ни на кого не глядя: «тенеатис форциус» (выписываю эту фразу нарочно по-русски, чтобы читатель понял, как И. П. говорил по-латыни), ближайшие к больному студенты становились по его бокам, а И. П., держа правую руку за спиной, вновь подходил к больному, говорил ему ласково: «покажи, матушка,[1] руку», делал знак студентам головой, те схватывали больного, и в комнате раздавался обыкновенно раздирающий душу крик. После этой операции И. П. неизменно говорил: «в таких случаях, матушки, всегда нужно прорезать палец до кости».[2]

На лекциях малой хирургии ему следовало бы читать о вывихах и переломах, но об этом важном предмете речи не было, и время посвящалось больше всего накладыванию бинтом на фантоме различных повязок. В его курс входило между прочим описание процедуры перевязки сосудов, и этому предшествовало описание лигатур: «Лигатуры, матушки, бывают двух родов — животные и растительные, к первым принадлежат кишечные струны, а ко вторым — шелк (sic) и простые нитки». Это я слышал на его лекции собственными ушами.

Много позднее мне довелось слышать не мало комичного о его ученом путешествии за границей, как он вздумал было изучать воспаление слизистых оболочек и остановился на том, что пустил кролику в глаз уксусной кислоты; как он посещал будто бы в Брюкселе (его собственное наименование этого города) Дондерса, жившего, однако, в Утрехте. О нас с Боткиным, когда мы уже были профессорами, он отзывался так: поковыряют у лягушки около гузенной косточки и печатают.

Директором акушерской клиники был профессор Кох. Посещение ее не было обязательно для студентов — туда допускались поодиночке и по охоте только дежурные. Я не был таким охотником и в клинике не был ни разу. Поэтому помню проф. Коха лишь как лектора. Насколько можно судить о профессоре по его лекциям, Кох был, я думаю, самым лучшим или по крайней мере самым дельным из тогдашних профессоров медицинского факультета. Лекции его имели исключительно деловитый характер и произносились с тем акцентом, по которому слушатель невольно узнавал в рассказчике мастера своего дела. Пом-

---

[1] Он имел обыкновение говорить нам на лекциях «матушки», а в одиночке больным — «матушка», поэтому и прозывался у студентов «матушкой».

[2] В каникулы, при переходе на 5-й курс, мне довелось в деревне явиться два раза учеником Ив. Петр. Первый раз на бедной милой Настеньке, которая страдала огромным карбункулом на пояснице, мучившим ее до моего приезда 2 недели. Она, бедная, получила от меня два огромных крестообразных разреза и вынесла боль геройски. А другая женщина с ногтоедой пальца бросилась после разреза по рецепту И. П. на землю и стала кататься с криком «убил, убил!» Насилу ее успокоили.

ню и его красивую, всегда изящно одетую на лекциях фигуру — всегда в черном фраке, в отличие от всех прочих профессоров, являвшихся не иначе как в форменных фраках.

В этом году, кроме посещения клиник, мне и моим ближайшим товарищам, Юнге и Эйнбродту, удалось, благодаря третьему товарищу, милому, доброму Пфёлю, упражняться на трупе в хирургических операциях. Отец Пфёля был главный доктор в военном госпитале (в Лефортове) и давал сыну каждое воскресенье труп и инструменты для хирургических упражнений. На них-то и приглашал нас молодой Пфёль. Помню, что занимались мы больше всего ампутациями, перевязкой артерий в различных областях и катетеризацией; по окончании же занятий я неизменно производил операцию вылущивания бедра. Фед. Ив. Иноземцев каким-то образом узнал об этом и предрекал, что, значит, мне придется когда-нибудь произвести эту страшную операцию на живом. К счастью, предсказание это не сбылось.

В этом же году я убедился, что не призван быть медиком, и стал мечтать о физиологии. Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки, с целью различения в них существенного от побочного— эту главную приманку истинных любителей медицины,[1] — развиться еще не мог. С другой стороны, я стал знакомиться в этом году с физиологией из прелестнейшей книги Бергмана и Лейкарта «Anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreichs». Из всех книг студенческого времени я сохранил ее одну и до сих пор считаю это сочинение прелестным. Тогда же оно произвело на меня такое впечатление, что я заинтересовал им семью Визаров и раз даже читал там род лекции о постепенном осложнении жизненных проявлений.

Зимой 1855 г., перед масленицей, нас, четверокурсников, собирают в какой-то аудитории старого университета, является декан Ник. Богд. и объявляет, что по высочайшему повелению все мы должны будем держать выпускной экзамен и отправляемся затем на войну, а на второй неделе поста скончался император Николай и было объявлено, что выпуску будут подле-

[1] Всеми этими качествами обладал в высшей степени С. П. Боткин, когда уже был профессором. Для него здоровых людей не существовало, и всякий приближавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты вроде Ант. Рубинштейна упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он взял меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру. Становясь по середине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел обертывать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, узнавал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату или даже к печке с открытой заслонкой.

жать лишь казеннокоштные. Знаю, что в числе последних был студент Кудрин, теперь первое медицинское лицо во флоте.

Теперь я вернусь назад, чтобы описать, как подготовлялось событие, имевшее место в семье Визаров в масленицу 1855 года.

Когда я был на 2-м курсе, в Москву приехал мой милейший товарищ по инженерному училищу и саперству, Мих. Ник. Владыкин, уже отставным офицером. Выше мне уже случилось говорить, что он был страстный театрал. Чтобы наслаждаться Шекспиром, он выучился английскому языку; затем, начитавшись Гоголя и Островского, соорудил собственную комедию из купеческого быта и вышел в отставку с мыслью посвятить себя сценическому искусству. Теперь он привез свою комедию в Москву, с тем чтобы прочитать ее Прову Михайловичу Садовскому. Пьеса была одобрена последним; изменено было только, по его совету, заглавие, и она шла под новым именем «Купец-лабазник», кажется, в бенефис Шумского. Прова Михайловича я, конечно, видел много раз на сцене, но, благодаря знакомству с ним Владыкина, мне удалось раз видеть его на вечеринке У Владыкина и слышать один из его знаменитых рассказов — «Повесть капитана Копейкина». Владыкин сидел подле Прова Михайловича и слушал его с таким напряженным вниманием, что когда капитан Копейкин, в продолжение своего рассказа, обратился к соседу, прищуря глаз, с вопросом, какого он мнения о только что сказанном, Владыкин невольно ответил на это вопрос и вызвал, конечно, гомерический смех всей публики. Продолжать капитана Копейкина было уже невозможно, но его заменили вскоре другие рассказы. Позднее через Владыкина я познакомился с другим знаменитым рассказчиком Горбуновым.

С тех пор как «Лабазник» был принят на сцену, Владыкин продолжал сочинительствовать, жил бо́льшую часть времени у себя в деревне, но стал ежегодно наезжать в Москву. В один из его приездов я познакомил его с семьей Визаров.

Когда я был на 3-м курсе, во вторую половину года, Леонида Яковлевна (старшая сестра), молоденькая, живая, красивая девушка с черными как смоль волосами и голубыми глазами, выдержала экзамен на звание учительницы и поступила в семью Фролова к его взрослым дочерям в качестве подруги-француженки. Пробыла она там год и зимой 1855 г. вернулась домой в дом Жемочкиных, около Донского монастыря. Вся молодежь, ходившая в этот дом, чувствовала, конечно, некоторую слабость к этой молодой девушке и к числу таковых принадлежал и я, не показывая, конечно, и вида. Такою же слабостью к ней, судя по разговорам, страдал и Владыкин, но из этого ничего не выходило, потому что он видел ее изредка, часами. Но вот подходит масленица 1855 г. Владыкин в Москве, мы бываем с ним в доме Жемочкиных каждое воскресенье и узнаем в одно из посещений, что глава дома, Владимир Яковлевич, через каких-то знакомых устроил сестре место гувернант-

ки в каком-то очень хорошем семействе в Казани и что бедная Леонида Яковлевна отправится туда великим постом. Возвращаясь с этого вечера с Владыкиным в город, я распространился о печальной судьбе, ожидавшей бедную девочку, и, в качестве близкого товарища детства, прямо сказал, что он один может спасти ее от этой участи, женившись на ней. Уговаривать его, впрочем, нужды не было, потому что известие о ее предстоящем исчезновении, видимо, подействовало на него очень сильно, и нужно было только подбодрить милого Владыкина. Как бы то ни было, в последний день масленицы мы опять были в доме Жемочкиных, и здесь, ради торжественности дня, устроились танцы,[1] в которых приняли участие оба отставных сапера. Я видел собственными глазами, как по окончании кадрили Владыкин стоял за стулом Л. Я., как она вспыхнула с навернувшимися на глазах слезами, поспешно вышла из комнаты и вернулась через минуту раскрасневшаяся, сияющая. Пост у жениха и невесты был, конечно, веселый, но в конце его Владыкин был вытребован в ополчение, и они поженились уж по окончании мною курса, когда я был за границей. Поженившись, они сделали длинное путешествие по Европе, вплоть до Испании, жили потом в деревне (Владыкин был уездным предводителем дворянства), потом в Москве, где он поступил на сцену. Еще позднее оба жили за границей, в то время как она училась медицине в Берне, где и кончила курс. Еще позднее Владыкин написал другую театральную пьесу «Омут», исходил охотником Кавказ и описал его. Все это было, а теперь уже давно нет обоих. С Леонидой Яковлевной я встретился уже стариком, когда ушел из Петербурга в Москву, где она жила, занимаясь медицинской практикой. Встретились мы, конечно, дружески, но судьба не дала продолжаться долго этому новому знакомству, — ее съела болезнь. Она знала, что болезнь стремительна, и умерла героем. С памятью о ее милом девическом облике связаны все мои воспоминания о хороших минутах студенчества. Кроме нее, я знал, впрочем, еще одну очень милую умную девушку, с которой познакомился благодаря тому, что по матери она была из рода Пазухиных и я был отрекомендован ей ее тетками, нашими соседками по деревне. Тетки говорили мне о их племяннице Наденьке Шнейдер с величайшей похвалой, и она в самом деле заслуживала этого умом, добротой и милым нравом. Бывал я там не часто, но, благодаря тому, что родственницы ее хорошо отрекомендовали нас друг другу, и благодаря присущей нам обоим простоте, мы скоро сошлись и стали приятелями.

---

[1] У барышень Визар были четыре приятельницы: три сестры-француженки Диле (которым я давал уроки из арифметики, когда они готовились к экзаменам на звание учительниц) и очень умная девушка Лизанька Фреймут, занимавшаяся впоследствии очень успешно энтомологией и даже написавшая трактат о мухах.

Клиники 5-го курса помещались в Екатерининской больнице на Страстном бульваре. Терапевтической заведывал проф. Варвинский и адъюнкт его Пикулин, а хирургической проф. Поль, адъюнкт Попов и старший ассистент Новацкий.

Варвинский, сколько помню, не читал клинических лекций и занимался тем, что, слушая отчеты кураторов о болезни порученных им больных, поправлял и разъяснял ошибки в этих отчетах. Помню также его нехорошую манеру относиться с усмешкой к причудам больных и к ошибкам студентов в определении болезни. Этой манерой он приводил многих студентов в большой конфуз. Особенно страдал от него один из товарищей, милейший Коробкин, кривой на один глаз и заика. По-настоящему, профессору следовало бы щадить бедняка и не вызывать его на пытку; а Варвинский словно наслаждался, когда тот, красный, задыхающийся, силился и шипел над больным. Любил он также беседовать со студентом Фишером, после того как последнему не удалось раз распознать перемежающуюся лихорадку. Пикулин был с своим патроном в контрах и ходил в клинику лишь по вечерам с единственною, кажется, целью — учить нас аускультации и перкуссии. Студенты того времени могли выучиться этому искусству только у него.

Хирургическая клиника проф. Поля была, я думаю, чуть не на треть наполнена детьми с каменною болезнью, так как Поль был большой любитель литотомии по способу брата Иакова и делал эти операции всегда сам, предоставляя остальные своему адъюнкту Попову. На ежедневный обход больных Поль приходил всегда с конфетами в кармане, а позади шел фельдшер с чашкой масла. Конфеты служили для укрощения детей, в то время как профессор исследовал их per rectum. Проф. Поль был в то время уже очень пожилой человек, и клиникой заведывал собственно его адъюнкт Попов; а он заботился, повидимому, не столько о земных делах, сколько о спасении души. Это я слышал от моего товарища Юнге. Он очень понравился Полю, и когда тот узнал, что Юнге лютеранин, сильно советовал ему принять католичество. О проф. Попове могу сказать только, что он не был заражен сентиментальностью: ругал больных даже во время операции и раз на моих глазах отвесил фельдшеру полновесную пощечину.

Сверх клиник, на 5-м курсе читались патологическая анатомия и гигиена. Содержания лекций патологической анатомии Ал. Ив. Полунина не помню, знаю только, что он показывал много патологических препаратов и учил процедуре вскрывания трупов. Насколько он был полезен для студентов, судить не берусь; но своим подчиненным он, очевидно, умел внушить любовь к знанию: тогдашний фельдшер его Аристархов сделался впоследствии доктором, и знаниями увлекся даже сторож при кабинете патологической анатомии, старый отставной солдат (финляндец) Иван Иванович, — он обучал студентов ка-

тетеризации. Что касается, наконец, до гигиены, то достаточно будет сказать, что такого позорного профессора, как К., не бывало, я думаю, ни в одном из университетов. До нашего поступления на 5-й курс он был одним из субинспекторов и превратился каким-то чудом сразу в гигиениста. Говорили, что это было дело рук попечителя, генерала Назимова.

В заключение должен признаться: зная, что не буду медиком, я относился в этом году к медицинским занятиям без интереса, оттого и мои воспоминания о 5-м курсе так скудны.

Оканчивая курс и зная за собой много грехов по части медицины, особенно практической, мне и в голову не приходило держать экзамен прямо на доктора, но к этому принудил меня наш декан Ник. Богд. Анке, говоря, что этого непременно требует факультет. Я этому поверил, но это была неправда. На доктора подали, вероятно по его же настоянию, два его любимца — Юнге и Эйнбродт, немцы; а между медицинскими профессорами двое, Глебов и Басов, были руссофилы и не любили, когда отдавалось в чем-либо предпочтение немцам перед русскими, и были на экзаменах строги. Поэтому-то Анке и нужно было присоединить к двум немецким кандидатам хоть одного русского, дабы смягчить этим экзаминаторов. Они, может быть, и смягчились, да не совсем — Глебов все-таки провалил Эйнбродта, хотя экзамены были очень просты, отличаясь от лекарских (как, впрочем, и теперь) лишь тем, что докторанта заставляли ответить вопроса на два лишних. Впоследствии я слышал, что мог бы попасть по возвращении из-за границы профессором физиологии не в Петербургскую медицинскую академию, а в Московский университет, и не попал лишь благодаря Ник. Богд. Анке. Дело в том, что, когда проф. Глебов оставил кафедру, что случилось, должно быть, через год после моего отъезда за границу, Анке предложил на его место Эйнбродта, с тем чтобы он был послан на казенный счет для усовершенствования в науках за границу, а Федор Иванович Иноземцев предложил меня. Тогда Ник. Богд. заявил, будто ему доподлинно известно, что я занимаюсь не физиологией, а психологией, и предложение Иноземцева было отклонено.

В заключение нельзя не вспомнить о крупных московских событиях, имевших место в промежуток времени моего студенчества (1850—1856). Время это было особенно богато ими.

Известно, что, когда революционное движение 48 и 49-го годов приблизилось к нашим границам в Пруссии и Австрии, император Николай нашел нужным принять экстренные меры против проникновения к нам вредных идей с запада, и одною из таких мер явилось сокращение в Московском университете (была ли эта мера распространена и на другие университеты, я не знаю) числа студентов на всех факультетах, кроме медицинского, до трехсот. В 50-м году мера эта была уже в ходу, и ректор университета (Альфонский) был уже коронный. Позднее (в каком

году, не помню) была закрыта кафедра философии, на которой сидел Катков, и вместо этого ультра-благонамеренного патриота логику и психологию стал читать протоиерей Терновский. В то же время стали ходить слухи, будто в университет назначен какой-то полковник обучать студентов артиллерии и фронту. Говорили даже, будто в университет будут поставлены две пушки. Некоторые из студентов этим слухам, может быть, и верили, но большинство относилось к ним иронически. Так, некоторые из товарищей советовали мне, шутя, выступить кандидатом на обучение студентов маршировке. Могу вообразить, какое волнение вызвали бы теперь подобные слухи и меры между студентами, но тогда студенчество еще не шевелилось сплоченной массой. Неудобства современного положения оно, конечно, сознавало, но разговоры об этом велись, так сказать, под сурдинку, в тесных товарищеских кружках. У меня был, напр., между приятелями поляк Б., и мы с ним нередко рассуждали о современном положении вещей — я горевал, а он держался мнения, что чем хуже, тем лучше.

На торжество столетнего юбилея университета (1855) попасть я не мог, потому что был вольнослушателем и мне было сказано, что являться на это торжество я мог бы лишь в общедворянском мундире, а у меня и цивильное-то платье было не из блестящих. Целый год мне пришлось, напр., прощеголять в пальто, из-за цвета которого меня звали у Визаров чижиком. Тогда в моде на сукно был «цвет лондонского дыма», и мне захотелось сшить себе пальто такого цвета; но я имел неосторожность покупать сукно под вечер в темной лавке и получил вместо лондонского дыма цвет чуть ли не бильярдной покрышки.

В этом же году умер Тимофей Николаевич Грановский. Его отпевали в университетской церкви, и я помню, что подле его гроба стояла женщина вся в черном, неподвижная как статуя во все время службы (жена его была урожденная Мюльгаузен, лютеранка). Гроб его провожали тысячи, но далеко не так торжественно, как провожали позднее в Петербурге Тургенева. Между провожавшими я помню, как теперь, Каткова в енотовой шубе. Тогда он был, впрочем, только издателем «Русского Вестника». Умри Грановский годами десятью позже, редактор «Московских Ведомостей» едва ли шел бы за его гробом.

Кажется, в 1853 году был пожар Большого московского театра. Мы с Юнге стояли во время пожара подле теперешней гостиницы Континенталь и были свидетелями спасения человека с крыши театра. Пожарные лестницы до этой крыши не хватали, и спас стоявшего на ней рабочий, взлезший на крышу (сначала, разумеется, по лестнице) по водосточной трубе. Самую процедуру спасения мы видеть не могли, потому что она происходила с фасада, обращенного к пассажам, но были свидетелями, как кому-то пришла в голову мысль собирать деньги

смельчаку. К несчастью, деньги оказали ему плохую услугу: он опился на них до смерти.

Когда я был на 4-м курсе, семья наша лишилась нашей милой кроткой матери. Настрадалась ее кроткая душа в жизни не мало, но бог послал ей по крайней мере тихую и быструю кончину. Известие о ее смерти я получил неожиданно. Так и не довелось ей, бедной, дожить до времени, когда ее сын пошел по столь желанной ею ученой части.

По духовному завещанию отца все имение передавалось матери в полное ее распоряжение до кончины, и воля отца была уважена. По кончине матери братья выделили сестрам все костромское имение, а симбирское решили не делить, прибавив к условию пункт, что желающий тем не менее выделиться получает 6000 руб. и отказывается от дальнейших прав на отцовское наследство. Имея в виду отправиться учиться за границу, я пожелал быть выделенным на сказанном условии и получил кроме того вольную для моего верного товарища и слуги Феофана Васильевича. Так как выпускные экзамены кончались тогда в начале июня, ехать за границу было поздно, поэтому на лето я отправился проститься с родными в Теплый Стан. Здесь мне пришлось во второй и последний раз в жизни оказать медицинскую помощь человеку (разрез карбункула бедной Настеньке был первым таким случаем). У крестьянина застрял в пищеводе большой кусок проглоченного хлеба, и он пришел ко мне в большом испуге. За неимением зонда я выпросил у сестер из корсета пластинку китового уса, навязал на конце ее кусок губки, смочив ее деревянным маслом, и протолкнул застрявший кусок. Бедный крестьянин с радости бросился мне в ноги. Конец лета я провел у Визаров на даче, видел въезд императора Александра II в Москву перед коронацией и в самый день коронации гулял с Визарами по иллюминованной Москве. Помню еще, что перед отъездом за границу купил по совету Феофана Васильевича золотые часы, считавшиеся им необходимою принадлежностью барина. Совет этот он дал мне по следующему случаю. Когда я кончил ученье, моя кузина Тухачевская, желая сделать мне подарок, призвала к себе Феофана Васильевича, чтобы узнать от него, что мне всего больше нужно. Он, не запинаясь, предложил «хорошие золотые часы»; и так как мы их с ним не получили, то он решил, что нужно приобрести на свой счет.

УЧЕНЬЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(1856—1860)

Получив из опекунского совета деньги, я отдал их на хранение милому, доброму Владимиру Яковлевичу Визару, и он же высылал мне частями за границу. Прожил я там на эти деньги три с половиной года, с осени 1856 года по февраль 60-го. Помню, что перед отъездом туда я получил в конторе московского банкира Ковли кредитив в 1500 руб., а в Берлине получил по этому кредитиву 1575 талеров. Таков еще был тогда почет русскому рублю — и это вслед за Крымской кампанией!

Выехал я из Москвы в Петербург на третий день коронации Александра II с паспортом «по болезни» и с уплатой 50 руб. за полгода — тогда еще не были отменены паспортные порядки николаевского времени. Из Петербурга ходили тогда в Штеттин два казенных пассажирских парохода, и на одном из них я отправился. Начало плавания было не совсем удачно. Не отъехали мы от Кронштадта и двух часов, как пароход обернулся назад, откуда вышел, и нам объявили, что до вечера можем отправиться в город, так как пароход будет догружаться углем. В Кронштадте мне довелось быть свидетелем очень характерной сцены. На одной из городских площадей, вижу, стоит толпа русских матросов зрителями борьбы двух бойцов — пьяного русского и трезвого иностранного (судя по одежде) матроса; русский стоит в боевой позе, а иностранец схватил его за обшлага расстегнутой шинели под горло; в то же мгновение через толпу протискиваются, очевидно, два товарища иностранца, — один огромного роста мужчина, — разнимают бойцов и свободно выводят своего товарища из толпы. При этом невольно вспомнился случай несостоявшегося кулачного боя, виденный мною зимой на Москве-реке, между Каменным и Крымским мостами. Бой только что завязался между мальчиками противоположных сторон, как от Каменного моста стала приближаться к толпе более чем в сто человек невзрачная фигура полицейского солдата с поднятой в виде угрозы палкой. Завидев этого блюстителя благочиния, вся толпа разбежалась.

Как бы то ни было, к вечеру мы догрузились и прошли весь путь до Штеттина без приключений.

В Берлине лекции еще не начинались, поэтому я воспользо-

вался свободным временем и съездил в Дрезден; прошелся пешком по Саксонской Швейцарии и оттуда через Прагу съездил в Вену. По дороге из Берлина в Дрезден случилось забавное приключение. В маленьком четырехместном отделении тогдашних немецких вагонов насупротив меня сидел старичок и средних лет дама — немцы. Разговаривая друг с другом, они очень часто присматривались ко мне с таким любопытством, что невольно возбудили во мне желание сошкольничать. Долго старичок крепился, но, наконец, не выдержал и вступил в разговор. Узнав с первых же слов, что я иностранец, он заметил вопросительно, что я приехал из-за моря и не из Южной ли Америки. На это я ответил: действительно из-за моря, но не из Америки, а из Персии, по Каспийскому морю. Спутники мои, конечно, обрадовались случаю получить достоверные сведения о Персии, какова там природа и люди. На все это я давал, вероятно, удовлетворительные для них ответы, и даже продекламировал им для ознакомления с звуками персидского языка какие-то стихи, заученные мной в детстве, из повести Марлинского «Мулла-Нур», выданные мною за стихи Фирдуси:

Гюдуль, Гюдуль хом гяльды
Арондындан ягыш гяльды.
Гялин, алга дур сана
Чюмганым дальдур сана.

Когда меня, однако, спросили, как называются в Персии денежные единицы (не известные мне и доселе), пришлось увернуться непониманием якобы вопроса и ответить, что обращается, как и у них, золото и серебро. К счастью, добрейший старичок выручил, спросив, не рупии ли. Я, конечно, согласился, и дело кончилось благополучно. При расставании советовали мне остановиться в отелле Berliner Hof и, должно быть, справились там, под каким именем я записан, потому что дня через два встречаю вдруг на улице мою бывшую спутницу и она приветствует меня, смеясь, словами: «здравствуйте, господин русский», на что я ответил: «нет, сударыня, руссифицированный персианин».

Нужно ли говорить, что я восхищался дрезденской галлереей, невиданными дотоле горами милой Саксонской Швейцарии, гулял по венскому Пратеру, был в Stephan's Kirche и пр. Знаю, что все это было описано мною с большим энтузиазмом в письме к московским друзьям; но это было сорок семь лет тому назад, и как ни отчетливо вспоминаются картины этого далекого прошлого, но перечувствованного в то время — увы!— не воскресишь.

Вернувшись в Берлин, я нашел в нем С. П. Боткина, вскоре сделавшегося самым близким для меня человеком. Он уехал за границу на полгода раньше меня и теперь приехал в Берлин вслед за Вирховым, только что переселившимся из Вюрцбурга в прусскую столицу, в устроенный для него анатомо-патологический институт.

Первые мои шаги в лабораторной жизни были очень оригинальны. Нужно заметить, что в то время в Московском университете медикам хотя и читалась химия, но в химическую лабораторию их не допускали. Поэтому, когда я поступил в Берлине в частную химическую лабораторию приват-доцента Зонненштейна для изучения качественного и количественного анализа, то не умел, что называется, даже мыть химическую посуду, и мне, докторанту, пришлось слушать наставления от служителя лаборатории, как обращаться с огнем, посудой, паяльной трубкой и проч. Но, видно, у служителя рука была легкая — дело скоро наладилось, и месяца через два можно уже было перейти в лабораторию медицинской химии при анатомо-патологическом институте.

В Берлине я пробыл год (по осень 1857), и почти все это время ушло на учение в двух лабораториях и слушание лекций: Магнуса — по физике, Гейнр. Розе — по аналитической химии, Иоганна Мюллера — по сравнительной анатомии половых органов позвоночных, дю Буа-Реймона — по физиологии и Гоппе — по гистологии. Однако в конце летнего семестра 1857 г. стал собирать в свободные минуты опытный материал для задуманной диссертации и литературу вопроса.

Поехал я за границу с твердым намерением заниматься физиологией, поэтому по приезде в Берлин меня, конечно, всего более потянуло на физиологические лекции и в физиологическую лабораторию; но в этом отношении пришлось несколько разочароваться. Трижды знаменитый Иоганн Мюллер продолжал быть официальным представителем кафедры физиологии, но давно уже перестал заниматься этой наукой, лекции по физиологии читал только в летние семестры, в три месяца весь курс, и учеников-физиологов не принимал. Рядом с ним стоял его знаменитый ученик дю Буа-Реймон; но он был тогда еще экстраординарным профессором; лекции его были не обязательны для студентов и не посещались ими, поэтому он читал, что хотел, по собственному выбору. Таким образом, в зимний семестр 56-го года читался в сущности курс электро-физиологии с очень беглыми экскурсиями в иннервацию сердца, кишек и дыхательных движений. Учеников у него не было, да и не могло быть, потому что лаборатория его состояла из единственной комнаты, в которой он работал сам (и куда доступа никому не было), и смежного с нею коридора с окном и единственным простым столом у окна. Тем не менее, при посредстве слушавшего вместе со мною лекции дерптского доктора Купфера, пожелавшего познакомиться на деле с гальваническими явлениями на мышцах и нервах, мне удалось заняться в коридоре, вместе с Купфером, установкой зауэрвальдовского гальванометра для физиологических целей, проделать опыты с мышцами и нервами лягушки и повторить, по желанию профессора, на угре только что опубликованные тогда опыты Пфлогера с спинномозговыми рефлексами. На все это потребовалось, конечно, так мало времени, что главным ме-

стом берлинского учения стала для меня только что основанная при институте Вирхова лаборатория медицинской химии, с ее молодым диригентом Гоппе-Зейлером, милым, добрым и снисходительным учителем, не делавшим никакой разницы между немецкими и русскими учениками. Переход из холодного коридора в теплую благоустроенную лабораторию Гоппе был для меня очень радостным событием; но лекциям дю Буа и занятиям в коридоре я все-таки много обязан: познакомив с областью явлений, о которых у нас в России и помысла не было, они давали в руки средство двигаться свободно в обширном классе явлений, составивших позднее так наз. общую физиологию нервов и мышц. У Гоппе-Зейлера занятия состояли главным образом в изучении состава животных жидкостей и были настолько приведены в систему, что ученье шло легко и быстро. Нам, русским, как действительно начинающим, специальных тем он не давал, но выслушивал охотно приходившие в голову планы и помогал советом и делом осуществлять их, если тема оказывалась разумной и удобоисполнимой. Так, он вполне одобрил задуманный мною план заняться острым отравлением алкоголем, естественно вызванный в моей голове ролью водки в русской жизни, и в его же лаборатории были произведены мною: исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь, измерение количества выдыхаемой пьяным животным CO_2, влияние алкогольного отравления на температуру тела (в артериях, венах и прямой кишке) и опьянение вдыхаемыми парами алкоголя.

Теперь несколько слов о профессорах, которых я слушал в Берлине, об их лекциях, — несколько слов потому, что профессоров я видел лишь издали, на кафедре, и лекции, которые мне пришлось слушать, при всей их внутренней ценности были в сущности элементарны.

Магнус считался превосходным лектором и крайне искусным экспериментатором. Позднее, в Гейдельберге, я слышал рассказ Гельмгольтца в его лаборатории, как Магнус приготовлял для своих лекций опыты. По словам этого рассказа, он всегда старался придать опыту такую форму, чтобы при посредстве натяжения нитки или удара или вообще какого-нибудь простого движения рукой приводить в действие показываемый снаряд или вызывать желаемое явление. Нет сомнения, что в возникшей гораздо позднее берлинской «Урании» простенькие физические приборы, приводимые в действие руками посетителей, при посредстве натягивания нити, были устроены учеником Магнуса. Я попал на штатный курс экспериментальной физики для медиков и фармацевтов, читавшийся в течение зимнего семестра. Курс по необходимости был элементарный (в $6^1/_2$ месяцев полный курс физики), но был обставлен очень роскошно опытами, делавшимися с такой быстротой, что не мешали плавности чтения. Угольная кислота в какую-нибудь $^1/_4$ часа превращалась у него в комья рыхлого снега, разбрасывавшегося между слушателями по аудитории.

Гейнрих Розе был, как известно, знаменитый специалист по аналитической химии и читал эту крайне полезную, но в сущности скучноватую материю с величайшим увлечением. Больно было видеть, с какой неделикатностью держали себя немецкие студенты на лекциях бедного старика, страдавшего сильным геморроем. Он был очень высокого роста, читал стоя и по временам должен был сильно приседать за кафедрой по причине болезни, что и вызывало всегда хихиканье слушателей.

Прежде чем говорить о Иог. Мюллере, нужно заметить, что, приехав в Берлин и намереваясь слушать университетские лекции, я думал, что сделать это иначе нельзя, как поступив в университет студентом, и стал таковым — представлялся вместе с прочими вновь поступившими студентами тогдашнему ректору Тренделенбургу, выслушал от него наставительную речь и, подобно всем прочим, удостоился рукопожатия. Затем внес казначею плату за все перечисленные выше курсы и между прочим плату за занятия в сравнительно-анатомическом музее. Иог. Мюллера. С квитанцией от казначея нужно было являться к профессорам, и они выдавали разрешительные карточки. Таким образом мне пришлось явиться к Иог. Мюллеру в его Sprechstunde и получить от него разрешение посещать музей и заниматься для начала остеологией рыб. Из этих посещений, однако, ничего не вышло: в комнате, куда меня впускал служитель, кроме меня, никого не было; Иог. Мюллер туда не входил, а ходить к нему с вопросами я не решался и вскоре совсем оставил эти посещения да и самую мысль о сравнительной анатомии. Тем не менее, из естественного желания послушать такую знаменитость, как Иог. Мюллер, я записался в летний семестр 57-го года на его лекции. Нужно признаться, на душе у меня все еще таилась вынесенная из Москвы наивная привычка думать, что всякий знаменитый профессор — непременно блестящий оратор, и я ожидал услышать в этой аудитории исполненную широких обобщений увлекательную речь, а вместо того услышал чисто деловую речь, с показыванием чертежей и спиртных препаратов. Это был, впрочем, последний год славной жизни Иог. Мюллера; и на лекциях он имел вид усталого, болезненного человека; во всех его движениях и в самой речи чувствовалась какая-то нервность; читал он тихо, не повышая голоса, и только глаза продолжали гореть тем неописуемым блеском, который вместе с славным именем ученого стал историческим.

То, чего я ожидал от лекций Иог. Мюллера, проскальзывало по временам в лекциях его знаменитого ученика дю Буа-Реймона; говорю «проскальзывало» потому, что аудитория не располагала к красноречию — на его лекциях этого семестра было счетом всего 7 человек и между ними двое русских, Боткин и я. Во всяком случае лекции его и по содержанию и по исполнению были привлекательны. Сюжет был для нас совсем новый; речь профессора текла плавно, свободно, и немецкий язык звучал у него очень красиво. Особенно памятна мне его лекция о быстро-

те распространения возбуждения по нервам. Тут он положительно увлекся и рассказал с жаром всю историю этого открытия: сомнения Иог. Мюллера в возможности измерить столь быстрый процесс, его собственные мысли, как можно было бы приступить экспериментально к этому вопросу, и, наконец, решение задачи его другом, великим учеником того же Иог. Мюллера, Гельмгольтцем. Описывая мультограф Гельмгольтца, он назвал разрывающийся и восстановляющийся металлический контакт, в виде ртутной нити, гениальным пунктом всего способа. В другой раз, не помню по какому поводу, он завел речь на лекции о человеческих расах и угостил нас, своих русских слушателей, замечанием, что длинноголовая раса обладает всеми возможными талантами, а короткоголовая, в самом лучшем случае, — лишь подражательностью. Если при этом имелись в виду россияне вообще, то суждение было для немца еще милостиво, потому что в эти годы нам не раз случалось чувствовать, что немцы смотрят на нас как на варваров. Да и могло ли быть иначе,— ни в науке, ни в промышленности россияне не проявляли еще самостоятельности, а наших короткоголовых писателей Тургенева, Достоевского и Толстого в Германии еще не знали. Пока я занимался в коридоре, дю Буа не вступал со мной ни в какие разговоры, благо за тем же столом сидел немец Купфер; но через два года, когда я возвращался из лаборатории Гельмгольтца через Берлин в Россию и должен был побывать у дю Буа-Реймона (скажу после, почему), то был встречен им уже очень дружелюбно; а еще через два года, по моем возвращении из Парижа, даже положительно любезно.

В течение года, с приездом в Берлин двух новых воспитанников Московского университета, образовался маленький товарищеский кружок. Приехал милый Беккерс, бывший хирургом при Пирогове в Севастопольскую кампанию, и мой однокурсник Юнге. Первый имел заниматься хирургией, а второй — офтальмологией. Позднее, по возвращении из-за границы, все мы четверо попали профессорами в Петербургскую медико-хирургическую академию. У меня с Боткиным занятия продолжались с утра до 6 час. вечера (с одним часом перерыва для обеда в медицинском ресторане Тёпфера). После занятий компания очень часто сходилась вместе, с заслуженным в течение дня правом веселиться, и веселилась, потому что ресурсов на веселье для молодого человека было и тогда в Берлине не мало. Душою кружка и запевалой был жизнерадостный Боткин. Его любили даже старые немки, а о молодых и говорить нечего. Он и Беккерс были большими любителями немецкой музыки, а я был итальянец; поэтому два раза в неделю, по вечерам, они неизбежно таскали меня на концерты Либиха у Кроля в Тиргартене, якобы для исправления моего дурного музыкального вкуса. Однако я остался итальянцем, потому что концерты имели ультра-классический характер и Либих дирижировал с ультра-немецким спокойствием. Здесь кстати заметить, что, отправляясь за границу, я мечтал побывать

непременно в прекрасной Италии; поэтому отыскал в Берлине учителя итальянского языка (итальянского рефюжье, бывшего полковника папской службы, с-ра Каландрелли) и брал у него уроки.

За этот год побывали мы, я думаю, во всех увеселительных заведениях Берлина, не исключая и так наз. шпиц-балов, где оставались, однако, зрителями, не принимая участия в танцах. По своему содержанию это то же, что петербургские танцклассы того времени (напр., упоминаемый Щедриным в его очерках знаменитый танцкласс Марцинкевича); но какая страшная между ними разница: там шум, гам и танцы чуть не с кувырканьем, а здесь (по крайней мере в танцовальной зале) полнейшее благочиние. Заиграет, напр., музыка прелюдию к вальсу, и вся публика — пар, я думаю, сто — выстроится сама собой попарно друг за другом вдоль стены. Затем дирижер танцев взмахом своей треуголки отделяет первую группу танцоров, пар в 25, от остальных, и отделенные начинают действовать, а остальные ждут смирно своей очереди, пока первая группа кружится. По новому взмаху треуголки танцовавшие становятся в хвосте и начинает действовать вторая группа, и так до конца. Да и самые танцы совершаются степенно, с чинным выделыванием всех па. Нет ни огня, ни увлечений, но зато какая выдержанность! У нас привыкли подсмеиваться над немецкой выдержкой и аккуратностью; но что же, как не ruhiges systematisches Verfahren во всем, сделало в конце-концов из немца первого человека в Европе?

Зимой 56-го года познакомился с знаменитым русским художником Александром Андреевичем Ивановым. Он приезжал в Берлин на несколько дней посоветоваться насчет глаз с Грефе. Вероятно, его надоумил ехать в Берлин кто-нибудь из старших братьев С. П. Боткина, потому что он приехал с письмом к последнему и попал таким образом в наш кружок. Пробыл он всего несколько дней и не мог, конечно, не оставить по себе самого отрадного впечатления. В следующем году я встретился с ним в Риме, и речь о нашем дальнейшем знакомстве будет ниже.

В августе 1857 года, по окончании летнего семестра, мечта моя побывать в Италии, наконец, исполнилась. С этою целью я списался с моим товарищем по университету, милейшим малым и большим чудаком В., учившимся тогда в Вюрцбурге. Я имел захватить его с собой в Вюрцбурге, ехать вместе в Мюнхен и оттуда пешком по Тиролю. Из всех моих прогулок по Европе не было другой такой очаровательной, как эта, по богатству и разнообразию впечатлений, падавших притом внове, на холодную почву. Очень милую живую нотку вносил также в это путешествие увлекающийся нрав моего спутника, хотя в начале пути не он меня веселил, а мне пришлось его утешать. Полгода тому назад в Берлине он был платонически влюблен в одну даму и горько плакал, прощаясь с нею; а в Вюрцбурге был влюблен, и тоже платонически, в дочку хозяина того ресторана, где обедал, и, простившись с нею на дебаркадере железной дороги, заливался в вагоне горючими слезами, уткнув лицо в угол, чтобы не

заметили пассажиры. По счастию, утешать пришлось недолго: уже в Мюнхене страдалец словно забыл о Вюрцбурге и был всецело поглощен составлением подробного плана путешествия на основании Бедекера и собранных от туземцев в Вюрцбурге сведений касательно тирольских Sehenswürdigkeiten. Маршрут наш лежал через Инсбурк и Бренер в Верону, с небольшими отступлениями в стороны.

В Мюнхене, осматривая достопримечательности, мы были еще горожанами, но за его пределами преобразились в горных пешеходов с котомками за плечами и с твердым намерением отречься, по настоянию В., от русской изнеженности, в виде проводников, вкусной еды и мягкой постели на пути. Зная по Бедекеру, где следует итти пешком и где можно дешево проехаться в Stellwagen'е (род очень скверного дилижанса), мы колесили по Тиролю, я думаю, дней десять и заплутались в горах только один раз, да и то не без пользы, так как побывали в захолустной тирольской деревушке. Выручили нас из затруднения пастухи, указавшие тропинку, которая вела в деревню, лежавшую, как оказалось, на скотопрогонной дороге. Пришли мы туда на постоялый двор усталые и голодные, поужинали — дело было уже к вечеру — бифштексом во всю сковороду средней величины, с горою картофеля, проспали ночь на сеновале, утром напились кофе (правда, очень скверного) и за все это заплатили гульден, т.-е. 60 коп. Вот какие еще были тогда места и люди в Европе!

Из Мюнхена первым нашим этапом была горная солеварня Галлейн, где за очень небольшую плату можно было прогуляться по подземным галлереям, спускавшимся сверху солеродной горы до ее основания. Здесь соль добывалась выщелачиванием горной породы, с каковой целью в массе горы делались большие выемки, в виде комнаты, выход из нее запирался, а через вход комната наполнялась водой и оставалась запертой до тех пор, пока вода не насыщалась солью до известного процента. Затем рассол спускался из комнаты в градирню. В шахтах, по которым водили посетителей, был очень оригинальный способ сообщения верхних этажей с нижними. На посетителя надевают кожаные штаны, на правую руку кожаную рукавицу, а в левую дают зажженный фонарь. В этом снаряжении посетитель садится у входа в темную шахту верхом на бревно, упираясь ногами в землю и ухватив правой рукою канат; затем раздается команда проводника освободить ноги, и седок неудержимо летит в темную пропасть, скользя по гладкому, как стекло, бревну. При конце спуска сильно наклонное бревно делает, должно быть, постепенный выгиб к горизонту, потому что скольжение, замедляясь само собой, почти совсем останавливается. Это была, конечно, самая приятная часть подземной прогулки; но в конце ее, в самом нижнем этаже шахт, нас ожидали новые сюрпризы: огромная пещера с подземным озером, иллюминованная десятком шкаликов, прогулка по озеру в лодке и высадка на узкоколейную железную дорогу, по которой вас мчат в непроницаемом мраке

невидимые силы и выносят внезапно на светлый вольный воздух.

Если бы у меня была хорошая привычка вставать летом с восходом солнца, то я, конечно, вспоминал бы очень часто прогулку по Тиролю в прохладные часы летнего утра, без забот и принуждения, с каким-то чувством свободы на душе. Но все это было так давно и на душу легло с тех пор столько других схожих, но более красивых впечатлений (через два года, летом 1859, мне довелось пройти пешком, в компании с Дм. Ив. Менделеевым, весь Berner Oberland), что из всего этого странствования по Тиролю в памяти остался только Берхтесгаден, его несколько мрачное, но все же очень живописное озеро (Кёнигзее), с нарядными бойкими лодочницами, и красивые снеговые горы на заднем плане картины. До Мерана шли и ехали по заранее составленному маршруту, а в Меране встретились с вюрцбургским профессором ботаники (кажется, по фамилии Schlenk) и по его совету свернули вправо к перевалу через Альпы, в долину Комского озера. Этот перевал через monte Stelvio (Stilfser Joch) по почтовой австрийской дороге, на высоте 7000 фут., остался у меня в памяти. Помню, что мы ночевали у подножия горы, встали с восходом солнца и стали подниматься в 6 час. утра. В 12 час. были уже на вершине перевала, выше линии вечных снегов, с панорамой снеговых гор вокруг, и на границе страстно желанной мною Италии. Помню, какое радостное чувство охватило меня при мысли, что я уже в Италии, и как я пустился бежать на видневшуюся невдалеке почтовую станцию. Здесь уже были другие лица, другая одежда, красивая итальянская речь и даже красное вино, вместо неизбежного до тех пор пива. Отсюда мы, кажется, прямо доехали до Колико и затем пароходом по озеру до Белладжио, показавшегося мне земным раем. Здесь мы пробыли, я думаю, дня два, потому что много бродили по окрестностям, посетив, конечно, виллу Сербеллони; наняли лодку без проводника и несколько раз катались вдвоем по озеру. В. был очень искусный пловец, и в одну из этих прогулок, когда мы были уже далеко от берега, ему вздумалось выкупаться. Сказано — сделано. Скорый, как всегда, В. разделся в одну минуту, свалил всю одежду в кучу, встал на борт лодки и—бух в озеро. Через несколько секунд слышу отчаянный крик: «мое пальто, мои деньги!» Смотрю, подле лодки по воде плавает распластавшись его злополучное пальто. По счастью, удалось вынуть его вместе с бумажником в боковом кармане, всем богатством В. Здесь я простился с своим милым спутником — его потянуло в Швейцарию,— а сам через Милан отправился в Венецию. Не помню, случилось ли это по уговору или нет, но в Милане я съехался с С. П. Боткиным, и как раз в день приезда туда тогдашнего ломбардского наместника эрцгерцога Максимилиана (впоследствии несчастного мексиканского императора), только что вернувшегося на свой пост после женитьбы. Во всяком случае я помню ясно, что вечером гулял с С. П. Боткиным по горевшим огнями улицам Милана с толпами подвыпившего народа,

распевавшего громкие песни; но из Милана я выехал по железной дороге один и приехал в Венецию часов в 10 вечера. Въезжать в этот очаровательный город в первый раз нужно именно ночью, потому что днем, в первую поездку по каналам, вы наслаждаетесь лишь новизною зрительных, притом совершенно отчетливых впечатлений, а ночью, при тусклом освещении каналов, мелькающих мимо вас смутным таинственным образом, вы окружены невозмутимой тишиной без единого звука, кроме легких всплесков воды под веслом гондольера. Плывешь прямотаки очарованный. Остановился в здравствующем доселе Hotel di Luna из-за заманчивости его названия, и хорошо сделал, потому что из отеля площади св. Марка не видно, а между тем она от него всего в двух шагах, которые я, конечно, не преминул сделать через несколько минут по приезде. Кто бывал в Венеции, знает, какое впечатление производит эта площадь на новичка вечером, когда по ее длинным боковым фасадам горят в магазинах и кофейнях тысячи огней, а на заднем плане вырисовываются на темном небе общеизвестные из картин контуры кампанилы, собора и кузнецов с их колоколом. Заманчивый по имени отель оказался, однако, не по моему карману, и в следующее же утро я нашел дешевенькую меблированную комнату в отдаленной части Riva degli schiavoni, почти насупротив существовавших тогда в этом месте купален. В морской воде я с детства не купался, поэтому в первый же день посетил это заведение, состоявшее из отдельных клеточек, в которых можно было только стоять по плечи в воде, но никак не плавать. Как человеку, изучавшему химию, мне, конечно, следовало бы знать несовместимость мыла с морской водой; но я упустил это из виду и превратил свою прическу в хаос твердых вихров. К счастью, в каждой клеточке находился кувшин пресной воды, и дело поправилось. Тут же я узнал, что в море голову мыть следует глиной. В Венеции я имел возможность осмотреть все ее достопримечательности и даже наскучаться вдоволь, потому что пробыл в ней против воли недели две по следующему случаю. Перед отъездом из Мюнхена я отправил свой чемодан через экспедитора в Венецию, и прибыл этот багаж на место примерно через неделю после моего приезда,— прибыл, но с потерей пломбы при переезде через границу между Баварией и Австрией, вследствие чего экспедитор не мог якобы получить его из таможни, или точнее мог, но лишь при условии взноса в таможню 700 гульденов, чего он сделать, конечно, не пожелал. По его словам, мне оставалось или ждать, пока тянется дело о пропаже пломбы, или отдать дело получения багажа без оной в руки адвоката. Не знаю, сам ли я додумался до третьего способа действия или кто мне посоветовал, но вместо адвоката я пошел к русскому консулу, рассказал ему всю историю и через несколько дней получил от него бумагу в таможню, по которой чемодан был мне выдан.

Отсюда я направился без остановки во Флоренцию. Бо́льшая часть пути шла через тогдашние папские владения (через Ферра-

ру и Болонью) без железной дороги, поэтому пришлось ехать в дилижансе и к тому же сидеть против старой англичанки, т.-е. ехать чуть не всю дорогу, поджавши ноги. Может быть, по этой причине никаких приятных воспоминаний об этом переезде не осталось. Во Флоренции я встретился с братом С. П. Боткина, Павлом Петровичем, которого знал немного в Москве и который был совсем не похож на своего брата.

О нем мне необходимо сказать несколько слов, потому что он сыграл существенную роль в одном римском происшествии, о котором речь будет ниже. Он учился в университете на юридическом факультете, но чиновником не был и жил без дела, в свое удовольствие, то в Петербурге (с братом художником), то в Москве гостил в семье фирмы. Рыхлого телосложения блондин, с одутлым, гладко выбритым лицом, мягким, словно без костей, телом и такими же мягкими манерами, он был похож на сытого католического священника средних лет, и сам себя признавал старым холостяком. Был большой любитель театра, особенно балета, и еще больший любитель женской красоты. Млел и соловел при виде красивого женского лица и, если можно, выражал перед кумиром данной минуты свои сладостные восторги словами, глазами и телодвижениями. Немного, может быть, и увлекался, но был по природе комедиант, легко входил в роль и разыгрывал комедии с большим увлечением. Эту черту его характера я узнал позднее; узнал, что между людьми, знавшими его близко, он сам подсмеивался над своими восторгами. Любил он пламенно только самого себя и не мог равнодушно говорить о случавшихся с ним бедах. Раз он при мне рассказывал у Сергея Петровича о своем путешествии по финляндским озерам, и когда стал передавать ужасный момент, как при сходе с парохода в лодку оступился и полетел головой вниз в озеро, то голос у него задрожал и на глазах выступили слезы. Но у С. П., знавшего комедианичанье своего брата, вместо восклицаний участия вырвался смех, и спасенный утопленник, нисколько не обидевшись, закончил рассказ описанием трогательной сцены, как он очнулся голый под руками растиравших его матросов и в порыве благодарности стал со слезами целовать этих чухонцев. Повторяю опять, эту сторону его характера я узнал позднее, а тогда считал его действительно способным на увлечения с некоторым некрасивым элементом.

Беганье по улицам милой Флоренции (ее я оценил настоящим образом позднее, в третий приезд) и ее картинным галлереям продолжалось дня три, и затем мы вместе отправились через Пизу в Ливорно, отсюда пароходом в Чивитавеккию и Рим. В Риме у П. П. были знакомые между русскими художниками, и он намеревался прожить в нем недели две, а то и более. Поэтому, должно быть, в первый же день приезда сбегал в caffe greco, тогдашнее место сходки русских художников, и, вероятно через посредство кого-нибудь из них, нанял для нас обоих две меблированные комнаты с молодой и красивой хозяйкой римлянкой.

Там же, конечно, узнал адрес Ал. Андр. Иванова, побывал у него и познакомился с этим очаровательным, милым стариком с чистой, младенческой душой. С первых же дней в нашей квартире устроились вечерние чаи, и Ал. Андр. стал на них бывать частым гостем. Незадолго до этого времени он познакомился с «Жизнью Христа» Штрауса и так увлекся книгой, что решил писать ряд картин из жизни Спасителя по этому сочинению. Но прежде всего счел нужным съездить к Штраусу за советами и указаниями на необходимые для художника источники. Поездка эта совершилась (в какой-то маленький городок около Штутгарта, где жил Штраусс) до нашего приезда в Рим, и Ал. Андр. остался в общем очень доволен ею, хотя беседы двух стариков шли, по собственным словам Ал. Андр., туговато: живописец не говорил ни на каком другом языке, кроме итальянского, а Штраусс по-итальянски не говорил и, чтобы быть понятным собеседнику, говорил по-латыни. Тем не менее старик наш приобрел, по указанию Штрауса, несколько книг и между ними одну очень важную для него на английском языке (названия не помню), в которой описывался храм Соломона из времен Христа по Иос. Флавию. Узнав, что я немного маракую по-английски, он убедительно просил меня просмотреть эту книгу и помочь ему сличить показания относительно размеров стен и внутреннего устройства храма с данными других источников, по которым он уже начал вычерчивать план храма. Я, разумеется, с радостью согласился, и дело устроилось следующим образом: несколько раз в неделю я приходил в его квартиру, читал ему английскую книгу по-русски, а он, сидя за начерченным планом с циркулем в руке, то сверял размеры, то вносил казавшееся ему нужным в свою записную книжку. Если бы я не прерывал самовольно по временам чтения, чтобы покурить и сказать несколько слов, относящихся к делу, то старик наверное оставлял бы меня читать без передыху часы — так он увлекался работой, продолжавшейся обыкновенно вплоть до обеденного времени. Здесь кстати заметить, что желудок Ал. Андр. был в большом беспорядке, потому что он плохо переносил еду и нередко страдал после обеда рвотой. Объяснял он это, однако, — и совершенно серьезно — не расстройством желудка, а существованием в Риме un partito nemico (его собственные слова), враждебной партии, которая подкупала служителей трактиров, где он обедал, отравлять его. Всего меньше он страдал (опять его собственные слова) от рыжего прислужника в трактире Falcone, поэтому мы и отправлялись обедать почти всегда в это заведение.

Прежде чем мои утра устроились таким образом, мы с П. П. успели побывать в наиболее знаменитых местах Рима и между прочим в капелле Святой Лестницы при Латеранском соборе. У входа этой часовни стоял монах и давал усердным посетителям наставления относительно способа почитания святыни. Первая, последовавшая этим наставлениям была старушка, а за нею пополз и П. П., но, не дойдя и до половины лестницы, пополз

назад. Затем с умиленным лицом и с видом сокрушения он дал понять пантомимами монаху, что не смог довести усердия до конца, а выйдя из капеллы, помирал со смеху, вспоминая фигуру ползущей перед ним старушки. Зная лишь несколько слов по-итальянски, П. П. был вообще вынужден в Италии пускать в ход пантомиму, в которой был, как балетоман, большой мастер, и ею же, с примесью французских слов, ему приходилось пленять нашу милую хозяйку, синьору Марию.

Молодая, тоненькая, стройная, с чертами лица Мадонны дель Сарто, но живая и веселая, она с первых же беглых встреч стала интересовать П. П. гораздо больше всех достопримечательностей Рима, взятых вместе; и он сумел повести дело таким образом, что очень скоро приручил ее к нашему обществу и его галантерейностям. Очень помогли ему в этом отношении устроенные им вечерние русские чаи. Враг всякого физического беспокойства (в Петербурге он держал лакея, который не только одевал его с головы до ног, но даже причесывал ему голову), он упросил синьору Марию быть хозяйкой этих вечеров, ссылаясь на свою неловкость и русские обычаи. Вместе с тем он любезничал так почтительно, что она согласилась и стала ежедневной гостьей в комнате, служившей нам салоном. Прошло несколько таких вечеров, и устроилась поездка в Тиволи втроем, т. е. с хозяйкой. Поехали мы туда в нанятой на целый день коляске; по приезде легкий завтрак, потом катанье на ослах, гулянье по парку и возвращение назад, когда жара уже спала. Поездка эта, кончившаяся сытным обедом с вином, так подействовала на синьору Марию, что, не доезжая Рима, она заснула в коляске с разгоревшимся лицом под лучами заходившего прямо против нас солнца. Не думаю, чтобы даже художникам могла сниться более изящная спящая красавица, чем наша падрона в эти минуты. Сожитель мой сидел немой от восторга, да и я был сильно тронут, но на иной, чем он, нисколько не материальный, лад. Эта поездка была поворотным кругом в наших взаимных отношениях. Он стал пересаливать в своем ухаживаньи, а я стал возмущаться его масляными взглядами и все менее и менее церемонными подходами. Мало-помалу дело дошло до того, что синьора Мария стала казаться мне бедной, беззащитной жертвой в руках богатого сатира. В это заблуждение ввела меня ее манера реагировать на его ухаживанья. Как очень красивая женщина и как хозяйка меблированных комнат, она, конечно, должна была привыкнуть к любезностям подобного рода и в мое отсутствие, вероятно, отвечала на них смехом, но в моем присутствии, видя, что я отношусь к ней иначе, и, вероятно, замечая, что любезности П. П. производят на меня неприятное впечатление, она не знала, как ей отвечать на них, неловко отшучивалась, по временам даже краснела и съеживалась. А Павел Петрович, как я узнал впоследствии от С. П., замечая, что я тронут падроной и будто бы ревную его к ней, поддразнивал меня своими любезностями. Сколько времени действовали на меня эти раздражающие влия-

ния, не помню; но они успели довести мою нервную систему до такого состояния, которое неизбежно кончается взрывом; и взрыв произошел неожиданный, нелепый.

До того достопамятного дня, когда он случился, гостями за вечерним чаем бывали у нас только Ал. Андр. и какой-то знакомый П. П. из Петербурга, глухой чиновник; в этот же раз, не предупредив ни меня, ни хозяйку, он привел человек пять русских художников. Перед их приходом я сидел в нашем салоне с синьорой Марией и беседовал с нею самым мирным образом; когда же гости появились в дверях этой комнаты, она вскочила со стула испуганная, и я невольно вслед за нею; она стала прятаться за моей спиной, а я стал закрывать ее от взглядов остолбеневшей компании. Сцена эта продолжалась, конечно, лишь несколько мгновений и кончилась тем, что синьора Мария убежала через другие двери к себе, а я, растерявшийся и сильно сконфуженный, едва смог раскланяться с пришедшими и тотчас же уплелся в свою комнату, схватил шапку и — вон из дома. Чай, вероятно, не состоялся, потому что, вернувшись часа через два, я нашел нашу квартиру уже пустой, заперся в своей комнате и предался размышлениям, в которых вопрос, почему синьора Мария испугалась, не был затронут (впоследствии я узнал, что один из гостей играл некоторую роль в ее прошлом), а на первый план выступало мое дурацкое поведение, придавшее разыгравшейся сцене такой вид, словно мы были накрыты на месте преступления,— поведение, компрометировавшее бедную, беззащитную девушку. Плодом этих размышлений было написанное в ту же ночь письмо, в котором виновник скандала предлагал руку и сердце скомпрометированной им беззащитной девушке. На следующее утро я нашел возможность сунуть ей это письмо в руки и убежал к Ал. Андр. Если бы я рассказал ему в этот же день всю историю, то дело могло бы принять иной оборот, но я смолчал и вечером того же дня стал женихом более удивленной, нежели обрадованной невесты, взяв с нее слово молчать до поры, до времени. Вскоре после этого П. П. уехал, запрещение было снято, и когда я, с своей стороны, сказал Ал. Андр., что намерен жениться на синьоре Марии, он был огорчен самым искренним образом и уговорил меня отложить свадьбу до окончания моего учения за границей. Быть женихом, когда знаешь, что невеста идет за тебя не по любви, и к тому же не уметь говорить с нею на ее языке как следует,— очень невесело; да и она, слава богу, не играла роли счастливой невесты; поэтому наша близость ограничилась целованием лишь при прощании, да и оно произошло без нежностей и без слез с той и другой стороны. Уехал я из Рима в конце октября в почтовой карете до Анконы, отсюда пароходом в Триест и далее в унылый Лейпциг. Здесь я получил несколько писем от Ал. Андр. с некоторыми сведениями касательно невесты; пыл прошел, и вся история кончилась моим письмом к синьоре, в котором я извещал ее, что не могу выполнить данного обещания вследствие непреодолимого

сопротивления родных. Слава богу, я не сделал ей, по письмам Ал. Андр., никакого зла.

Когда я был в университете на последнем курсе, то узнал о существовании вышедшего тогда учебника физиологии Функе, а в Берлине слышал, что Гоппе-Зейлер был его товарищем или по университету, или по лаборатории Лемана, тогдашнего представителя физиологической химии, и это обстоятельство было причиной, что на зимний семестр 57 года я отправился в Лейпциг. Город этот я назвал унылым, и во вне-ярмарочное время он был действительно таковым, притом же поездка в Италию, с только что описанным происшествием, обошлась слишком дорого для моего не тугого кармана, так что пришлось вести здесь спартанскую жизнь, и вдобавок ко всему без товарищей, в совершенном одиночестве. В памяти остались дешевые лейпцигские обеды: за 5 зильбергрошей (15 коп.) можно было получить тарелку супа, полпорции мяса, mit Gemüse и в виде десерта Hausbrod (наш ржаной ситный), à discrétion, с жомком посоленного творога с тмином, тоже à discrétion. Помню также мою добрую квартирную хозяйку, как она, по моей просьбе, заменила утренний кофе, из-за излишней прибавки к нему цикория, чаем очень странного запаха, и на мой вопрос: откуда такой аромат в чае? отвечала, что она подмешивала к нему для запаха гвоздику.

Функе был экстраординарным профессором (представителем кафедры все еще состоял знаменитый Эрнст-Гейнрих Вебер, но уже не читавший, по старости, физиологии), и лаборатория его, состоявшая из двух комнат, была обставлена очень бедно. Я явился туда с готовой темой — изучать влияние алкоголя на азотистый обмен в теле, на мышцы и нервную систему. По первому из этих вопросов пришлось делать опыты на себе, т. е. измерять, при одном и том же пищевом режиме, суточное выделение мочевины и мочевой кислоты (в те времена сказанный обмен измерялся именно так) при нормальных условиях и при употреблении алкоголя. Питался я при этом две недели подряд следующим образом: утром и вечером дома одинаковые порции чая с сухарями, а обедал в находившейся поблизости к моей квартире студенческой кнейпе, которая оставалась весь день пустой (вечером туда не пускали никого, кроме студентов той корпорации, которыми она нанималась на год) и хозяин которой очень охотно согласился давать мне ежедневно бифштекс из $^3/_4$ нежирной говядины с неизменным по весу количеством картофеля и белого хлеба.[1] По второму вопросу мне пришлось проделать впервые множество опытов на лягушке — по упругости мышц, по раздражительности их и двигательных нервов, по электрическим свойствам тех и других и по перевязке сосудов и проч. С этой стороны занятия были очень полезны, тем более что я был предо-

[1] За этими обедами я узнал от хозяина, относившегося к своим вечерним посетителям очень дружелюбно, как они проводят время в кнейпе, и слышал между прочим рассказ о некоем студенте Мотце, который на пари выпил в течение вечера (с 6 до 12 час.) 32 кружки пива.

ставлен при опытах собственным силам. В то время, благодаря выработанным дю Буа-Реймоном способам исследования и благодаря недавним и много шума наделавшим опытам Кл. Бернара и Кёлликера с действием на нервы и мышцы кураре, опыты с влиянием различных ядов на мышечную и нервную систему были в большом ходу, и я, попутно с изучением влияния алкоголя, повторял на лягушке чужие опыты с влиянием на нервы и мышцы разных других ядов. Под руку подвернулись между прочим опыты Кл. Бернара с действием серно-цианистого калия, и, повторяя оные, я нашел в них ошибку. Дело в том, что в парижскую лабораторию тогда еще не проникли из Германии различные виды электрического раздражения нервов и мышц, и Бернар все еще употреблял для возбуждения их pince électrique — циркуль с медным и цинковым концами. Таким образом, описание на немецком языке собственных опытов, с поправкой замеченной ошибки, стало моим первым, очень немудрым ученым произведением, удостоившимся быть напечатанным. В Лейпциге же я имел честь быть введенным впервые в хорошее немецкое общество, именно на вечернее собрание какого-то ферейна, членами которого состояли, между прочими обывателями, профессора с их семействами. На одно из таких собраний взял меня с собой Функе, обязав надеть фрак и иметь белые перчатки. Собрание начиналось коротенькой лекцией или рассказом общедоступного и приятного для дам содержания. В этот раз очередь забавлять их лекцией была за Функе, и он очень удовлетворил публику, рассказав, какая разница между Nahrungs und Genussmitteln. Когда же раздался сигнал к имеющей начаться кадрили, он представил меня какой-то барышне, сказав наперед, как пригласить ее на кадриль, и отыскал нам визави. Кадриль сошла благополучно. Перед вальсом он представил меня другой даме, и, покружившись с ней некоторое время, я подвел ее, по русскому обычаю, к стулу, с которого взял, поклонился и стал удаляться, но был пойман со смехом Функе, сказавшим, что, по их обычаям, пока музыка продолжает играть танец, кавалер не имеет права покидать приглашенную им даму и должен танцовать с нею повторительно или по крайней мере сидеть подле нее и занимать разговорами.

На Рождество я уехал в Берлин к моим милым товарищам и очень весело встретил с ними 1858-й год. Вечером накануне нового года театральная зала в заведении Кролля превращалась в огромную ресторанную залу со множеством отдельных столиков, за которыми пировали рядом с бессемейной молодежью и семейные кружки. Благодаря последнему обстоятельству, и за столами бессемейных могли присутствовать дамы. Было очень весело и обошлось без скандала. Возвращаться из Берлина в Лейпциг было так тошно, что я решил внутренно не дотянуть семестр до конца и, получив от кого-то из товарищей известие, что в лаборатории Гоппе есть вакансия и что он меня примет, вернулся, кажется, в конце февраля в его милую лабораторию.

Имея в предмете включить в диссертацию влияние алкоголя на отправления печени, я считал нужным набить руку в количественном анализе желчи на ее составные части и стал заниматься этим вопросом. Вероятно, в это же время занимался добыванием гликогена из печени. Боткина в это время в Берлине не было; он был, кажется, временно в Москве и хворал там первыми припадками желчной колики. Помню этот маленький промежуток времени еще потому, что, страдая ни с того, ни с сего одышкой, раз так сильно испугал добрую толстую Frau Krüger, хозяйку боткинской квартиры, в которой я поселился, что она привела ко мне участкового доктора, которому я должен был заплатить 20 зильбергрошей за визит и рецепт, в котором мне предназначалось выздороветь от употребления малинового сиропа, подкисленного фосфорной кислотой. И выздоровел.

Не знаю, надоумил ли меня какой-нибудь добрый человек или я сам собственным умом дошел до решения ехать отсюда к Людвигу в Вену, но весной 1858 года был уже у этого несравненного учителя, славившегося тогда вивисекторским искусством, равно как важными работами по кровообращению и отделениям, и сделавшегося впоследствии интернациональным учителем физиологии чуть ли не для всех частей света. Чтобы занять такое положение, одной талантливости было мало (у Гельмгольтца, пока он был физиологом, и у дю Буа-Реймона, во всю его продолжительную деятельность, лабораторных учеников было наперечет); помимо таланта и разнообразия сведений, нужны еще были известные черты характера в учителе и такие приемы обучения, которые делали бы для ученика пребывание в лаборатории не только полезным, но и приятным делом. Неизменно приветливый, бодрый и веселый как в минуты отдыха, так и за работой, он принимал непосредственное участие во всем, что предпринималось по его указаниям, и работал обыкновенно не сам по себе, а вместе с учениками, выполняя за них своими руками самые трудные части задачи и лишь изредка помещая в печати свое имя рядом с именем ученика, работавшего более чем наполовину руками учителя. Однако пока Людвиг жил в Вене, профессорствуя в маленькой военно-медицинской школе (Josephinum), развернуться этим качествам вширь было негде. Лаборатория его состояла из трех комнат: очень маленькой библиотеки (его кабинет), аудитории человек на 50 и так наз. мастерской, в которой работал известный, конечно, всем людвиговским ученикам лабораторный служитель Зальфенмозер, правая рука профессора. К этому нужно прибавить, что школа была закрытым заведением; лаборатория, по уставу, не предназначалась для практических занятий учащихся, и профессор не получал гонорара со студентов. По всем этим причинам за весь год моего пребывания там в лаборатории работали только двое (сначала Вильгельм Мюллер и я, потом я и Макс Германн, оба мои соработника, крайне милые люди) и не платили за право работать ни копейки.

К Людвигу я явился без рекомендации и был первым московитом, которого он увидел (впоследствии он умел различать в русских три типа, под названиями петербуржцы, московиты и малороссы). Разговаривая со мной о выраженном мною намерении заняться влиянием алкоголя на кровообращение и поглощение кровью кислорода, он сделал мне род экзамена по физиологии и, должно быть, удовлетворился ответами, потому что пустил в лабораторию. Место я получил в мастерской, где работали все вообще его венские ученики, а Зальфенмозеру было поручено помогать мне при опытах.

Пока я валандался с поглощением кровью кислорода и кимографическими кривыми нормального и пьяного животного,— а на это, при моей тогдашней неопытности, ушел весь летний семестр,— Людвиг не принимал никакого участия в судьбе моих опытов, спрашивая лишь время от времени, все ли у меня благополучно, и зная, конечно, от Зальфенмозера, что внешним образом опыты идут без скандала. Интересоваться ими Людвиг, конечно, не мог и, может быть, присматривался к московиту. Единственное внимание его ко мне выражалось следующим образом: в те утра, когда он не работал с В. Мюллером [1] и сам продолжал свои опыты с иннервацией слюнной железы, я приглашался ассистировать ему в этих опытах. Они заключались в графическом изображении актов выделения слюны на поверхности вращающегося барабана, в виде нисходящих кривых. С этой целью маленький сосуд, в который втекала слюна подчелюстной железы, был снабжен пишущей иглой и, будучи подвешен на крайне слабой (т. е. сильно растяжимой) пружине, опускался между двумя правилами, без трения, непрерывно вниз по мере наполнения слюной. Опыты эти были для меня не только интересны и поучительны, но еще и занимательны, потому что профессор, тогда еще в сущности молодой человек, лет 40, любил болтать за работой: рассказывал веселые анекдоты из древней университетской жизни, о чудаках профессорах, расспрашивал меня о России, знал имя Улыбышева (кажется, так), как лучшего, по его словам критика бетховенской музыки, интересовался Лермонтовым, зная его, вероятно, по немецким переводам, и раз даже пожелал услышать, как звучат по-русски его стихи, на что я ему продекламировал «Дары Терека» с переводом их смысла. Когда уехал В. Мюллер и я остался у него один, он еще больше приблизил меня к себе, приглашая ассистировать и присутствовать при всех приготовляемых для его лекций опытах. Пускал бы меня, конечно, и на свои лекции студентам, но не имел на это права.

Нужно ли говорить, что это было очень счастливое для меня время. Русских товарищей в этот семестр у меня не было, но я

[1] Опыты эти заключались в изучении явлений дыхания при условии, когда полость легкого трахеотомированного животного сообщалась с очень маленьким приемником O_2, в виде колокола, погруженного в ртуть, по мере потребления из него животным газа. Оказалось, что, когда весь газ исчезал из-под колокола, из легочного воздуха исчезал бесследно весь кислород.

был не лишен компании. В лаборатории для бесед был В. Мюллер (впоследствии профессор патологической анатомии в Иене), баварец, эрлангенский студент, влюбленный в свою родину и ее пиво, всем довольный и жаловавшийся только на дороговизну венской жизни. Раз, на мое удивление по этому поводу и в ответ на мой рассказ о дешевизне лейпцигских обедов, он не без похвальбы заметил: «Это что за дешевизна! В Эрлангене мы, студенты, могли обедать много дешевле и были сыты, получая тарелку супа и клёцку». Будучи знаком с этим именем в России по супу с клецками, я, конечно, не понял, как может насыщать одна клецка студента, не отличающегося вообще слабым аппетитом, и понял загадку лишь тогда, когда Мюллер демонстрировал мне обеими руками ее объем в виде шара чуть не с человеческую голову. С Мюллером я пробыл в лаборатории месяца два, и затем мы уже не встречались в жизни; а с другим моим товарищем этого времени я прожил в Вене целый год, сошелся с ним до степени дружбы, гостил по месяцам в его лаборатории, когда мы оба были уже профессорами (он в Граце, а я в Петербурге), и сохраняю к нему чувство дружбы доселе. Благодаря богу он еще жив и стал для меня единственным товарищем молодых лет, тогда как всех моих друзей, описываемых в этих беглых строках, да и всех моих дорогих немецких учителей давно уже нет на свете.

Этим моим товарищем сделался Роллет, ассистент Брюкке, профессора физиологии в Венском университете. Он занимался тогда растворением кровяных шариков электрическими разрядами через кровь и приходил в лабораторию Людвига показывать ему получавшиеся результаты. Тут я с ним и познакомился, а затем мы стали ежедневно обедать в одно и то же время в одном и том же дешевеньком ресторане в Alserstrasse. Будучи беззаветно преданным своему делу, он беседовал преимущественно о научных вопросах и, вовсе не желая поучать, сообщал много интересного из того, что делалось в лаборатории Брюкке, по части физиологической химии и гистологии. Говорил он медленно, как бы обдумывая каждое слово, и такой же обдуманностью отличались все его действия. Враг всякой фальши и в то же время прямой и искренний до наивности, он самым серьезным образом поправлял в разговорах мои грехи против членников немецкой речи и бывалые грехи против физиологии. Спокойный и даже несколько флегматичный с виду, он, однако, резко воодушевлялся, передавая какое-нибудь выдающееся событие в науке или жизни, резко относился к клерикалам, как врагам всякого прогресса и врагам Австрии. К женскому полу относился равнодушно, венок не любил, называя их пустыми, жадными на роскошь вертушками. Принадлежал вообще к разряду людей с горячим сердцем, при несоответственно спокойной внешности. Достаточно было раз увидеть на его некрасивом лице милую, добрую улыбку, чтобы знать, что это хороший человек.

На осенние каникулы 1858 г. я остался в Вене, чтобы писать

диссертацию, так как собирание собственного опытного материала было закончено, и здесь я имел возможность пополнить собиравшиеся уже ранее литературные данные по вопросу. Единственным моим развлечением были прогулки по ближайшим окрестностям, концерты Штраусса на открытом воздухе в Volksgarten'е и поездка на пароходе по Дунаю в Ленц и обратно. Эта часть Дуная показалась мне менее красивой, чем берега нашей Волги в Костромской губернии.

Осенью приехали в Вену на весь зимний семестр Беккерс и Боткин, последний женихом из поездки в Москву. Свадьба его имела совершиться в Вене весной следующего года, по окончании зимнего семестра, для чего невеста должна была приехать в Вену с матерью. Таким образом и здесь, как в Берлине, было трое молодых приятелей, работавших бо́льшую часть дня и веселившихся в часы отдыха. Вена, конечно, веселее Берлина, но веселились мы здесь гораздо скромнее, чем там. Так, из всех наших посещений увеселительных мест в памяти у меня остались, по резкой разнице впечатлений, два бала совершенно приличного содержания: бал немецких бюргеров и бал славян, в разное время, но в одном и том же локале. На первом из них в танцовальной зале царствовала та степень оживления, которая присуща балам хорошего общества и у нас, тем более что, помимо обычных общеевропейских танцев, здесь стоял на первом плане виденный мною тогда впервые красивый венский вальс, с его медленным темпом и красивым раскачиваньем тела из стороны в сторону,— танец, бесспорно красивый, но спокойный и скорее убаюкивающий, чем увлекающий. На славянский бал мы пошли с большим интересом, так как в объявлениях было сказано, что будут, по желанию, национальные танцы. В этот раз, после инсипидной кадрили, вальса и полек, составились только два национальных танца: скучное сербское коло в роде нашего хоровода, только без припева «вдоль по морю...», и мазурка настоящих поляков и настоящих полек. В жизнь мою не видел танца более увлекательного: наша балетная мазурка в «Жизни за царя» с Кшесинским в первой паре — жалкая пародия на этот огненный танец. Пары несутся по зале, как вихорь, и польки не танцуют, а словно бегут под музыку, и бегут раскрасневшиеся, взволнованные,—задыхаясь. На балу бюргеров в смежном с танцовальной залой ресторане было много шума, громких разговоров, звона посуды, но ни единичных громких вскрикиваний, ни тостов, ни вскакиваний со стульев,— словом никаких признаков подвыпившей компании. А у славян, в той же самой комнате, было всего вдоволь: за одним столом говорились речи с криками браво, за другим целовались; здесь усмиряли вскочившего со стула оратора, дергая его за полы, а там слышался раскатистый смех или стучанье кулаками по столу. Словом, шел пир горой.

В самом начале этого семестра Боткин и Беккерс, сговорившись с другими русскими медиками, приехавшими в Вену, поручили мне спросить у Людвига, не возьмется ли он прочесть им

в своей лаборатории ряд лекций по кровообращению и иннервации кровяных сосудов. Я исполнил их желание, и Людвиг согласился, если соберется между желающими сумма в триста гульденов. Сумма, конечно, собралась, и я был в числе слушателей на этих лекциях. Людвиг принадлежал к числу профессоров, любящих процедуру чтения, и на лекции словно смаковал читаемое. С вивисекторской стороны лекции были обставлены роскошно и имели, конечно, большой успех. По окончании оных благодарная публика пригласила профессора на устраиваемый в честь его обед, и приглашение было принято. Тут он держался с нами по-товарищески, был весел, разговорчив, немного подвыпил и после обеда играл со мною на бильярде. Познакомился за обедом с обоими моими друзьями и, познакомившись впоследствии с прелестной женой С. П. Боткина, был очень расположен к этой паре. Насколько он был хорош с нами, может показать следующий маленький случай. Беккерс заходил иногда ко мне в лабораторию, чтобы сговориться насчет какого-нибудь вечернего предприятия, и раз он пришел в такое время, когда Людвиг сидел за вставлением сравнительно толстой канюли в тонкий лимфатический сосуд. Увидев Беккерса и зная, что он хирург, Людвиг встретил его словами: «Вот кстати пришли, извольте-ка, г. Пирогов, сесть на мое место и вставить мне вот эту штуку в лимфатический сосуд; я вот бьюсь и вставить не могу». Беккерс сел и, по счастию, вставил. Со стороны Людвига это была, конечно, шутка, обращенная к нравящемуся ему молодому человеку.

В эту же зиму мои занятия в лаборатории приняли хороший оборот.

Опыты примешивания паров алкоголя к освобожденной от газов крови, с целью изучать влияние его на поглощение кровью O_2, дали мне в прошлом семестре неудовлетворительные результаты; поэтому я стал думать, что было бы, может быть, рациональнее поступать иначе: выделять из крови нормального и пьяного животного содержащиеся в ней газы и сравнивать эти величины друг с другом. Прочитав описание существовавших тогда способов Магнуса и Л. Мейера, я не мог не понять, что оба они не удовлетворительны—в одном кровь кипятилась при комнатной температуре, а в другом в невозобновляемом пустом пространстве,— потому что я весь летний семестр выкачивал газы из крови непрерывным действием воздушного насоса и должен был в то же время согревать ее до 38—40° С, чтобы освободить от газов. Долго ли я размышлял, как выйти из этого затруднения, не знаю, но в конце-концов мне пришла мысль воспользоваться имевшимся у меня в руках абсорциометром Л. Мейера и превратить его с небольшими изменениями в кровяной насос с возобновляемой пустотой и возможностью согревания крови. Сказано — сделано (см. приложенный схематический чертеж). К дуге *di* абсорциометра *abdi* была припаяна трубка *f* (единственным тогда в Вене старым дульщиком стекла, работавшим еще на масляной лампе), соединяющаяся каучуком с

трубкой *g*, а на выводную трубку *c* навязывалась длинная стеклянная трубка *h*; наконец, трубка *ab* перерезывалась в нижней части, и оба отрезка соединялись каучуком. Опыт с таким снарядом производился следующим образом: прежде всего наполнялся приемник *e* с его каучуком и зажимом *i* кровью животного, вне соприкосновения с воздухом, для чего он наполнялся доверху ртутью, опрокидывался в ртутную ванну и под его нижний конец подводилась трубка, по которой вытекала кровь из кровеносных сосудов животного. Затем при запертом зажиме *i*, приемник взбалтывался, выпущенная в него кровь дефибринировалась оставшейся в нем ртутью, и приемник навязывался на свободный конец дуги *di*. После этого, при запертом зажиме *l* весь аппарат наполнялся ртутью, нижний конец трубки *h* погружался в ртуть, запирались зажимы *m*, *n*, *p* и открывался зажим *l*. Если длина трубки *h* такова, что расстояние между точками *q* и *l* превышает высоту барометра, то выпусканием ртути через *l* в пространстве *ifdq* образуется пустота. Стоит тогда отворить зажим *i*, и согретая кровь, устремляясь с силой в пустое пространство, выталкивает оставшуюся в дуге *di* ртуть вон. Выделившиеся из крови газы переводятся очень легко в трубку *g*, если, открыв зажим *p* и сдавив несколько газы, открыть затем зажим *m*. На место газа, поступившего в трубку *g*, из нее всегда перетекает соответственный объем ртути в пространство *ifdq*; значит, операция выпускания ртути через *l* и кипячение крови в пустоте может повториться и повторяется желаемое число раз, пока кипячение не перестает давать в пустоту газа. Людвиг, конечно, видел эти пробные опыты, и они послужили моделью для заказанного им тотчас же кровеносного насоса, который был отдан в мое распоряжение и был описан мною в последовавшей затем работе с газами артериальной крови нормального и задушенного животного. Этим способом учение о газах крови было поставлено на твердую дорогу, и эти же опыты, равно как длинная возня с абсорпциометром Л. Мейера, были причиною, что я очень значительную часть жизни посвятил вопросам о газах крови и о поглощении газов жидкостями.

В эту зиму я был уже вхож в семью Людвига, состоявшую из жены, очень скромной молчаливой дамы, и дочки лет пятнадцати. Раз даже был во фраке на званом вечере, где публика сидела вокруг стола, степенные дамы на софе, а дочь Людвига разносила гостям чай, и где между гостями был венский астроном (кажется, Littrow) со взрослой дочкой, должно быть очень образованной девицей, которая расспрашивала меня о России. С этих пор дружеское расположение ко мне моего милого учителя не прекращалось вплоть до его кончины, выражаясь при всех маленьких переворотах моей жизни теплыми, участливыми письмами.

Свадьба Боткина имела совершиться, как я сказал, в конце зимнего семестра, и время приезда невесты настолько приближалось, что он уже начал собирать некоторые украшения в бу-

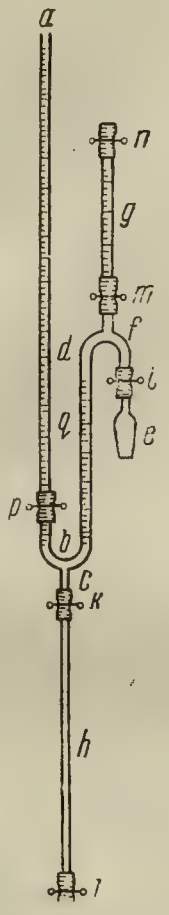


Рис. 1.

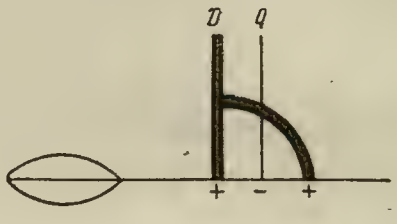


Рис. 2.

дущий будуар жены (помню устроенное им уморительное кукое зеркало, убранное полотенцами, которое наверно насмешило его изящную невесту) и мы уже сшили себе новые фраки, так как я имел быть шафером на свадьбе, как вдруг в одно прекрасное утро бедный Боткин просыпается с сыпью на лице, оказавшейся, к счастью, ветряной оспой. Понятно, что это сильно испортило настроение духа всегда веселого и доброго Боткина (по этому случаю, кажется, даже приезд невесты был на некоторое время отложен); и в это-то злополучное время понесла нас нелегкая затеять спор о сути жизненных явлений. Он был страстный поклонник Вирхова с его целлюлярной патологией; а я, наслушавшись завзятых биологов-физиков, какими были, я думаю, чуть ли не все физиологи того времени, считал началом всех начал молекулы. При других условиях спор мог бы кончиться благотворно, поправками и уступками с той и другой стороны, но в данном случае их не последовало, и он кончился со стороны Боткина справедливой для того времени поговоркой: «кто мешает конец и начало, у того в голове мочало», которая меня настолько обидела, что в Вене мы уже не видались более, и я уехал в Гейдельберг.

Привожу дословно очень важную выдержку из письма Людвига ко мне от 4-го мая 1859 г., значит в начале моего пребывания в Гейдельберге.

«Любезный Сеченов, Боткин уехал женатый и будет иметь, конечно, приятное и счастливое свадебное путешествие. В одно из наших частых свиданий он сообщил мне, что получил письмо от господина Глебова (Herr Kleboff), некоего высокопоставленного чиновника в Петербурге, в котором говорится, чтобы вы (т. е. я, Сеченов) написали ему, как и где занимались физиологией; а он, имея в руках такой документ, мог бы похлопотать за вас. Исполните же это. Я просил Боткина, чтобы он написал вам об этом сам, и надеюсь, что он сделал это, так как его жена очень его уговаривала (eifrig zuredete). Как она жаловалась на излишнюю обидчивость Боткина, так и он на Вашу. Простите, что говорю об этом, но мне бы так хотелось водворить согласие между двумя людьми, каждый из которых на свой лад может сделать много хорошего (jeder in seiner Art soviel gutes wirken kann)... Поклонитесь сердечно Бунзену и Гельмгольтцу. Верный вам К. Людвиг».

Не помню, когда я написал письмо Глебову, но знаю, что через несколько дней по получении людвиговского письма я встретился с счастливым, добрым Боткиным и его красавицей женой в Гейдельберге. Дело было, повидимому, в какой-то праздничный день, потому что они, в сопровождении Юнге (бывшего со мной в Гейдельберге), знавшего, куда я пошел гулять, нашли меня в парке около замка. С этих пор мы уже никогда не спорили с С. П. о клеточках и молекулах.

Здесь кстати будет заметить, что родоначальником физиологии в России второй половины прошлого века следует считать

Людвига. В его лаборатории, вслед за мной, работали: Эйнбродт (проф. физиологии в Москве), Шефер (проф. физиолог. химии в Киеве), Томса (проф. физиологии в Киеве), Щелков (проф. физиологии в Харькове) и Ковалевский (проф. физиологии в Казани), не считая Ал. Шмидта (сделавшегося профессором физиологии в Дерпте), так как этот мог развиться в физиолога дома, у Биддера.

В Гейдельберг я приехал с намерением слушать лекции у Гельмгольтца и Бунзена и работать в обеих лабораториях. Узнав, что у Бунзена не занимаются органической химией, я заявил желание заниматься у него титрованием и анализом газов. Узнав, что я медик, он предложил мне заняться прежде всего алкалиметрией и анализом смесей атмосферного воздуха с CO_2. Слышав про идеальную доброту и простоту Бунзена, я говорил с ним, не смущаясь; а к Гельмгольтцу, тогда уже великому физиологу в глазах всего мира, шел с трепетом, неся в голове всю программу разговора. Пришел я к нему с следующими четырьмя планами работ: 1) изучать влияние на сердце совместного раздражения обоих vagi, одного в центробежном, а другого в центростремительном направлении; 2) изучать при посредстве его, т.-е. Гельмгольтца, мнографа различную быстроту сокращения различных мышц на лягушке, приводя в пример большую разницу в движениях передних и задних конечностей у лягушек самцов; 3) заняться, по его указанию, каким-либо вопросом из физиологической оптики, и 4) позволить мне произвести несколько опытов с добыванием газов из молока при посредстве только что устроенного Людвигом кровяного насоса, который будет доставлен мною (по приезде в Гейдельберг я тотчас же заказал его на свой счет тогдашнему механику Дезага). По первому пункту не получил никакого ответа, вероятно потому, что в его лаборатории не делалось никаких вивисекций, кроме как на лягушках; на второй пункт Г. изъявил согласие, сказав, что в настоящее время с этим инструментом уже работают, обещал тему и позволил произвести опыты с молоком.

Что я могу сказать об этом из ряда вон человеке? По ничтожности образования приблизиться к нему я не мог, так что видел его, так сказать, лишь издали, никогда не оставаясь притом спокойным в его присутствии, что стесняло его самого. От его спокойной фигуры с задумчивыми глазами веяло каким-то миром, словно не от мира сего. Как это ни странно, но говорю сущую правду: он производил на меня впечатление, подобное тому, которое я испытал, глядя впервые на Сикстинскую Мадонну в Дрездене, тем более что его глаза по выражению были в самом деле похожи на глаза этой Мадонны. Вероятно, такое же впечатление он производил и при близком знакомстве. Много позднее, когда он был уже в Берлине и, по слухам, очень часто бывал приглашаем Вильгельмом I, будто бы любившим беседовать с ним, я проездом через Лейпциг спросил Людвига, что может интересовать военного человека, Вильгельма I, в Гельм-

гольтце. На это Людвиг ответил каким-то особенно нежным голосом: «es ist doch ein Genuss ein so ruhiges Denken zu hören dwieas seinige ist». В Германии его считали национальным сокровищем и были очень недовольны описанием одного англичанина, что с виду Гельмгольтц похож скорее на итальянца, чем на немца.

Читал он некрасиво на штатных лекциях студентам медикам, которые я слушал и которые читались элементарно, без всякой математики. Должно быть, скучал, потому что раз мне довелось быть на вечернем собрании гейдельбергского ученого общества, в котором он описывал анализ звуков резонаторами и читал здесь даже весело, выбрав судьей присутствовавшего на этом сообщении глухого Бунзена, улыбавшегося доброй улыбкой, когда Гельмгольтц вставлял ему в ухо резонатор.

В лаборатории (очень небольшой, с отдельной комнатой профессора и без отдельной комнаты его тогдашнего ассистента Вундта) работало четыре человека: два офтальмолога — Юнге (мой товарищ) и Кнап, немец с очень косыми глазами, фамилии которого не помню (и который возился несколько месяцев с миографом Гельмгольтца), и я. Вундт сидел неизменно весь год за какими-то книгами в своем углу, не обращая ни на кого внимания и не говоря ни с кем ни слова. Я не слышал ни разу его голоса. Гельмгольтца мы видали мельком. Ежедневно он приходил один раз в рабочую комнату, обходил всех работающих, спрашивал каждого, все ли благополучно, и давал разъяснения, если таковые требовались.

Начал я работать с темы, данной мне Гельмгольтцем; но прежде чем она была дана, он спросил меня, знаю ли я по-английски, и на утвердительный ответ дал мне прочитать трактат о флюоресценции Стокса. Тема заключалась в определении отношения прозрачных сред глаза к ультрафиолетовым лучам. Ранее этого им самим была констатирована флюоресценция сетчатки в этих лучах. Кварцевые линзы и призмы имелись в лаборатории, но серебряного зеркала (для гелиостата), незадолго до того начавшего приготовляться по способу Либиха, еще не было; и Гельмгольтц, зная, что я работаю у Бунзена, сказал мне, что я могу сделать его в лаборатории последнего. Должно быть, он сам сказал об этом Бунзену, потому что едва я заикнулся об этом, как Бунзен собственноручно схватил стеклянную пластинку, вычистил ее, посеребрил и в конце-концов отполировал бархатной подушкой. Свиные глаза я получал с бойни; и как только путь света от гелиостата, через рабочую комнату и маленькое окошечко в стене аудитории, был налажен, с первых же опытов была найдена сильная голубая флюоресценция хрусталика в ультрафиолетовых лучах. Когда я показал это явление Гельмгольтцу, он, вместо свиного глаза поставив на путь света мой собственный, нашел, что и мой хрусталик флюоресцирует, и тотчас же заметил, что это очень удобный способ доказать плотное прилегание райка к передней поверхности хрусталика, т.-е. отсутствие так наз. задней камеры глаза. Очень меня обра-

довало полученное по этому случаю письмо от Людвига, которому я, вероятно, писал, что чувствую себя в Гейдельберге не так свободно и приятно, как в Вене у него. Вот выдержки из этого письма: «Helmholtz hat an Brücke geschrieben, dass Sie eine betrachtliche Fluorescenz der Linse entdeckt haben... und dann ist der Umgang mit H. doch höchst lehrreich; im nächsten Winter werden sich vielleicht die Berührungspunkte zwischen ihm und Ihnen mehren;schon jetzt schreibt er mir, dass Sie ihm gut gefallen». Письмо это было от 29 июля 59-го года. Значит, на занятия у Бунзена и на эту работу ушел весь летний семестр. Когда работа эта была написана и представлена Гельмгольтцу, он нашел в ней следующее мое измышление: не играет ли голубая флюоресценция хрусталика роли в видении нами голубым воздуха. На это измышление он заметил: если бы это было так, то мы не могли бы видеть отчетливо ультрафиолетовой части спектра с его фраунгоферовскими линиями, потому что флюоресценция дает рассеянный свет; и измышление было таким образом изъято из употребления.

Бунзен читал превосходно и имел на лекциях ничем непобедимую привычку нюхать описываемые пахучие вещества, как бы вредны и скверны ни были запахи. Рассказывали, что раз он нанюхался чего-то до обморока. За свою слабость к взрывчатым веществам он давно уже поплатился глазом, но на своих лекциях при всяком удобном случае производил взрывы. Так и теперь, вооружившись длинной палкой с воткнутым в конце ее под прямым углом пером и надев очки, взрывал в открытых свинцовых тиглях иод-азот и хлор-азот, а затем торжественно показывал на пробитом взрывом дне капли последнего соединения. Страдая забывчивостью, он часто является на лекцию с вывернутым ухом — сохранившимся до старости наследием школьного возраста.[1] Когда в течение лекции взмахом руки профессора ушная раковина приходила в норму, это значило, что памятка сделала свое дело — опасный пункт не был забыт. Когда же, как это случалось нередко, ухо оставалось вывернутым и по окончании лекции, молодая публика расходилась с веселыми разговорами о том, был ли забыт намеченный опасный пункт или забыто ухо. Бунзен был всеобщим любимцем, и его называли не иначе как папа Бунзен, хотя он не был еще стариком.

В Гейдельберге, тотчас по приезде, я нашел большую русскую компанию: знакомую мне из Москвы семью Т. П. Пассек (мать с тремя сыновьями), занимавшегося у Эрленмейера химика Савича, трех молодых людей, не оставивших по себе никакого следа, и прямую противоположность им в этом отношении — Дмитрия Ивановича Менделеева. Позже — кажется, зимой — приехал А. П. Бородин. Менделеев сделался, конеч-

[1] У нас, сколько я знаю, школьники не занимаются этой операцией над ухом, заключающейся в том, что давлением сзади на ушную раковину она выдавливается вперед.

но, главою кружка, тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был уже готовым химиком, а мы были учениками. В Гейдельберге в одну из комнат своей квартиры он провел на свой счет газ, обзавелся химической посудой и с катетометром от Саллерона засел за изучение капиллярных явлений, не посещая ничьих лабораторий. Т. П. Пассек нередко приглашала Дм. Ив. и меня к себе то на чай, то на русский пирог или русские щи, и в ее семье мы всегда встречали г-жу Марко-Вовчок, уже писательницу, которая была отрекомендована в глаза как таковая, а за глаза, как бедная женщина, страдающая от сурового нрава мужа. То ли она не обращала на нас никакого внимания, или мы не доросли до понимания заключавшихся в ней душевных сокровищ, но у меня по крайней мере не осталось в памяти никаких впечатлений от нее в этом направлении — ничего более, как белокурая, некрасивая, не очень молодая и довольно полная дама, без всяких признаков измученности на лице.

Этим летом и следующей за ним зимой жизнь наша текла так смирно и однообразно, что летние и зимние впечатления перемешались в голове и в памяти остались лишь отдельные эпизоды. Помню, напр., что в квартире Менделеева читался громко вышедший в это время «Обрыв» Гончарова, что публика слушала его с жадностью и что с голодухи он казался нам верхом совершенства. Помню, что А. П. Бородин, имея в своей квартире пианино, угощал иногда публику музыкой, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант, потому что никогда не играл ничего серьезного, а только, по желанию слушателей, какие-либо песни или любимые арии из итальянских опер. Так, узнав, что я страстно люблю «Севильского цырюльника», он угостил меня всеми главными ариями этой оперы; и вообще очень удивлял всех нас тем, что умел играть все, что мы требовали, без нот, на память. Помню, наконец, одно очень смешное происшествие. Это случилось наверно летом, потому что местом действия послужил вагон-салон, а такие вагоны ходили из Гейдельберга только летом. Отправляясь в Маннгейм в театр, компания наша из шести человек (между ними Савич и Менделеев) вошла в вагон-салон первая и заняла за столом наиболее удаленный от входа в вагон угол. Через несколько минут в тот же вагон у самого входа профессор Фридрейх посадил какую-то даму и сам ушел прочь. В это мгновение Дм. Ив. только что начал крутить папироску, но, заметив даму, остановился на полдороге и, держа в руке не свернутую еще бумажку с табаком, обратился к даме с вопросом, позволит ли она курить. Не успел он произнести и первых слов, как дама вскочила с испугом с места и выбежала вон. Ни она, ни проф. Фридрейх больше не явились, и мы с большим огорчением поняли, что по недоразумению со стороны дамы случился скандал, в котором нас, русских, будут обвинять в грубости и невежестве. По счастию, проф. Фридрейх лично знал лечившегося

у него Савича, и мы ему поручили найти тотчас же по приезде в Маннгейм профессора и рассказать ему, как было дело. По словам Савича, Фридрейх в первую минуту повернулся к нему спиной, не говоря ни слова; но когда услышал рассказ, то помер со смеха, говоря, что жена его вообразила, будто ее приглашают играть в карты. В Гейдельберге же я познакомился с Бор. Никол. Чичериным. В компанию Менделеева он не вошел и виделся изредка лишь с Юнге и со мной, как его однокашниками по университету. Он тогда был уже адъюнктом.

В осенние каникулы 1859 г. мы с Дм. Ив. вдвоем отправились гулять в Швейцарию, имея в виду проделать все, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, т.-е. взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Alpenglühen'ом, прокатиться по Фирвальдштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Oberland. Программа эта была нами в точности исполнена, и в Интерлакене мы даже пробыли дня два, тщетно ожидая, чтобы красавица Юнгфрау раскуталась из покрывавшего ее тумана. Но куда я делся затем, положительно не помню.

В начале следующего за тем зимнего семестра заказанный мною людвиговский насос был готов, и я приступил к газам молока. С этой целью мне пришлось приобрести от гейдельбергского дрогиста на прокат, под залог стоимости, нужное количество ртути и вступить после долгих уговоров в следующее соглашение с мещанкой гор. Гейдельберга, державшей на продажу молока корову. В очень ранний час утра, перед тем как она доила корову, я приходил к ней с большой лабораторной чашкой, бутылкой прованского масла и стеклянным приемником для молока, заранее наполненным ртутью. Чашка наполнялась маслом, и хозяйка должна была доить корову, погрузив соски ее в масло. После этого запертый зажимом приемник опрокидывался в молоко, зажим открывался и молоко поднималось, конечно, вверх, а вытекавшая ртуть пряталась в слое молока. Когда хозяйка коровы увидала это зрелище в первый раз, она не то сильно удивилась, не то испугалась, всплеснула руками и чуть не убежала — приемник с ртутью она приняла за серебряный флакон с непрозрачными стенками, и вдруг видит, как молоко бежит по этим стенкам вверх и собирается там, не вытекая вниз. Насилу я ей растолковал, что это не колдовство. Гельмгольтц, конечно, видел мои опыты с молоком и людвиговским насосом, так как они производились в его лаборатории, и через шесть лет в учебнике Вундта была описана впервые та, устроенная Гельмгольтцем, несравненно более удобная форма насоса (два неравной величины сосуда, сообщающиеся друг с другом длинным неспадающимся каучуковым рукавом), которая остается и поныне в насосах с Торичеллиевой пустотой. Не зная об этом, я описал в том же 1865 году очень простенькую форму насоса, где Торичеллиева пустота образуется действием

обыкновенного воздушного насоса. Историю этих трех форм можно найти в Gscheidlen's Physiol. Methodik, 3-e Lief., 1877.

В эту зиму единственным событием в обычно тихой жизни Гейдельберга было празднование столетия Шиллера. Компания наша обедала всегда в ресторане отеля Badischer Hof и сидела на одном конце длинного стола, а на другом сидели студенты — прусские бароны, расхаживавшие по городу в белых шапках, с хлыстами в руках и большими датскими догами. В день юбилея за обедом между баронами сидел седой Миттермайер (профессор юридического факультета), который сказал речь, упомянув в ней, что в ранней юности он имел счастье видеть великого человека, описал его образованность, гуманность, широту взглядов и закончил речь воззрениями Шиллера на женщину, описав женские типы в его творениях. Вечером мы были на театральном представлении (признаться, очень скучном) «Лагеря Валленштейна», окончившемся апофеозом.

Опытами с молоком закончились мои занятия в лаборатории. Финансы мои приходили к концу, и мне пришлось бы тотчас же возвращаться в Россию, если бы я не получил в декабре маленького наследства в 500 руб. С таким богатством в кармане я отправился с Менделеевым и Бородиным в Париж. За несколько дней до этой поездки у меня сделалась до того сильная ногтоеда на руке, с бессонными ночами, что возбудила сострадание даже вне нашего кружка, в одной светской русской даме (я с нею не был знаком, и о моей болезни она узнала от одного из тех молодых русских, которые не оставили после себя следа), которая посоветовала прикладывать к пальцу сметану с пухом. Этого я не сделал и поехал в Париж с небольшой лихорадкой, в енотовой шубе Савича, чтобы не простудиться по дороге. Выехали мы в сочельник и, проезжая по Страсбургу ночью от моста к вокзалу железной дороги, не мало любовались сплошным морем елочных огней. В те времена немецкая железная дорога, по которой нам приходилось ехать, доходила только до Келя; здесь пассажиры пересаживались в дилижанс (багаж пересылался отдельно и визировался в Париже), переезжали рейнский мост и останавливались у французской заставы для визирования паспортов, причем пассажиры оставались в дилижансе. Принес нам паспорта обратно французский чиновник и стал выкликивать имена. Первые два, Менделеева и Бородина, сошли еще благополучно, но над моим именем он призадумался и, взглянув на мою черную фигуру в необычном костюме, не мог удержаться от вопроса: «êtes-vous turc, monsieur», чем, конечно, развеселил всю компанию и себя самого.

Никогда во всю мою жизнь я не кутил так, как этот раз в Париже. Первую неделю, а то и более, нигде не был, кроме как в заведениях в роде тогдашней Closerie de lilas (студенческий танцкласс), где шел дым коромыслом, в театрах с ужи-

нами после представлений, и, конечно, побывал на маскарадном балу Большой оперы, да еще с конфетами в кармане для угощения танцующих бебе, испанок, баядерок и т. п. Дошло до того, что, наконец, самому стало тошно и я угомонился, когда в кармане не осталось и половины привезенного богатства. Беккерс учился тогда в Париже и, познав уже суетную сторону парижской жизни, не принимал участия в моих увеселениях. Он познакомил меня с одним из моих будущих товарищей по медицинской академии и его умной, милой молодой женой, у которых собиралась учившаяся в Париже петербургская молодежь. Он же затащил меня на лекции тогдашнего профессора теоретической хирургии (Malgaigne), которые пересыпались анекдотами, рассказывавшимися с французским шиком. На одной из его лекций я услышал, напр., такое воспоминание из пережитого профессором далекого прошлого: «du temps que je faisais la guerre à l'empereur Nicolas...», разумея под этим время польского восстания. На другой лекции он привел слушателям подробный список докторов, фельдшеров и аптекарей, участвовавших в операции фистулы прямой кишки Людовика XIV, с подробным счетом, сколько они получили за нее, общим итогом в 70 000 франков. На эту лекцию принес ему знаменитый тогда мастер хирургических инструментов (имени не помню) свой экразер и был очень смущен, когда профессор, описав употребление инструмента, сказал, что он, может быть, пригодится в очень немногих случаях, но никуда не годится, когда можно обойтись ножом. Боткин был тоже в Париже: у него, как раз перед нашим приездом, в декабре родилась двойня. В уходе за женой и новорожденными он никуда не показывался, я его видел лишь мельком.

Вскоре по возвращении из Парижа приходилось собираться в обратный путь. Возвращаться на родину мне смертельно не хотелось, потому что за три с половиной года я привык к жизни на свободе, без обязательств и занятой с большим интересом. Притом же нельзя было не полюбить тогдашней Германии с ее (в огромном большинстве) простыми, добрыми и чистосердечными обитателями. Тогдашняя Германия представляется мне и теперь в виде исполненного мира и тишины пейзажа, в пору, когда цветут сирень, яблоня и вишня, белея пятнами на зеленом фоне полян, изрезанных аллеями тополей. Как бы то ни было, но ехать пришлось, когда в кармане осталось ровно столько денег, сколько нужно было на остановку в Берлине и проезд оттуда до Петербурга. Гельмгольтц простился со мной ласково и вручил три оттиска своей работы (составившей позднее одну из глав его знаменитой книги о звуковых ощущениях), с просьбой передать их в Берлине Магнусу, Дове и дю Буа-Реймону, что, конечно, и было исполнено мною. В этот раз дю Буа встретил меня приветливо и, пожелав дальнейших успехов, заметил, что я побывал уже во всех местах, где быть следовало.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ И ПРОФЕССОРСТВО В ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (1860 — 1870)

Зимний путь лежал до Кенигсберга по железной дороге, а оттуда через Тауроген и Ригу до Петербурга в почтовой карете. В Кенигсберге я получил место в заднем 4-местном купе с тремя дамами: француженкой-модисткой, возвращавшейся из Парижа в Петербург, рижанкой, говорившей свободно по-французски, и очень молоденькой немкой, ехавшей куда-то неподалеку от Кенигсберга. От непривычки ли к езде в закрытой рессорной карете, или оттого, что мы с нею сидели на передней скамье и ехали спиной вперед, но только в самом начале пути бедная немочка стала бледнеть с явными признаками тошноты. По счастью, моя шляпа — цилиндр — была у меня под рукой и спасла сидящих перед нами дам от напасти, так как времени поднять окно со стороны немки не было. Она, конечно, очень сокрушалась, что из-за нее я потерял выкинутую в окно шляпу; но благодаря этой маленькой жертве я приобрел расположение моих спутниц и проехал с ними всю дорогу в приятельских отношениях. В Таурогене меня, впрочем, ожидал не совсем приятный сюрприз. Когда нас, пассажиров, пригласили в бюро получать наши паспорта, чиновник объявил мне, что я имею уплатить 30 руб., так как при отъезде за границу уплатил только за полгода, а за границей пробыл три с половиной. Этого я не рассчитал в Гейдельберге, и в кармане у меня, по уплате места в дилижансе, оставалось лишь несколько рублей на пропитание до Петербурга. Выручил меня стоявший рядом со мною пассажир переднего купе, с которым я хотя и встречался на станциях, но, будучи всегда прислужником дам, не говорил до этой минуты ни слова. Пассажир этот оказался виолончелистом Давыдовым, ехавшим в Петербург из лейпцигской консерватории и уже восхитившим на этом пути берлинскую публику. Он мне составил протекцию тут же, на станции, у какого-то почтенного старика-еврея, и тот дал мне под залог оставленных золотых часов 30 рублей. В Петербург мы приехали вечером, часов в 9-ть, 1 февраля 1860 г. На почтовой станции француженку-модистку, m-me Allin, встретил ее муж; я был отрекомендован ему как спутник, оказавший ей ряд услуг в дороге, и был приглашен ими в ближайшее воскресенье на обед в Михайловскую

улицу, где был угощен, как теперь помню, очень вкусным вольованом и жареной индейкой. В ответ на это я угостил позднее мужа и жену завтраком с елисеевскими устрицами, и тем знакомство наше кончилось. Старшая моя сестра была тогда замужем за офицером Финляндского полка Михайловским, которого я знал давно, учась еще в инженерном училище, как выпускного кадета и потом как гвардейского офицера. Они жили в казармах полка, в 19-й линии Васильевского острова, и приютили меня у себя со второго дня моего приезда. Отсюда, почти с конца Васильевского острова, мне пришлось пройти пешком раза три к Глебову на Выборгскую сторону — сначала, чтобы представиться ему, а потом по поводу печатания готовой уже у меня диссертации. Еще будучи за границей, я получил от Глебова письмо, в котором он обещал пристроить меня, по защите диссертации, к медицинской академии. Припоминая мелочи того времени, не могу не вспомнить слов, сказанных однажды нашим знаменитым химиком Ник. Ник. Зининым (он был член академии наук и в то же время профессор химии в медицинской академии и ее же ученый секретарь, второе лицо после президента) в ответ на наши — мои и Боткина — сетования на некоторые стороны русской жизни: «Эх молодежь, молодежь, — сказал он словно всерьез, но, конечно, соглашаясь с нами, — знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать». Припомнилось мне это изречение потому, что диссертацию я никому не представлял, взял рукопись у меня в своем кабинете Глебов, без всякой просьбы с моей стороны она была напечатана даром в «Военно-медицинском журнале» и защищена мною не более как через месяц по приезде в Петербург. На диспуте я познакомился с одним из своих оппонентов, Евг. Венцеслав. Пеликаном, молодым еще человеком, бывшим в медицинской академии профессором судебной медицины и только что сделавшимся директором медицинского департамента министерства внутренних дел. Это был очень умный человек, хорошо образованный для того времени медик (в это самое время он читал в Пассаже лекции по некоторым отделам физиологии), и мы остались с ним большими приятелями до конца жизни. Он ввел меня в семью проф. Красовского и познакомил меня там с одним военным доктором, которого я помню лишь по двум рассказам из времен императора Николая. Первый относился к нему самому, когда он был еще очень молодым ординатором 1-го сухопутного госпиталя. В одно из его дежурств приехал неожиданно в госпиталь государь. По уставу дежурный врач должен был рапортовать, что все обстоит благополучно, больных налицо столько-то и на выписку столько-то. Пункт благополучия сошел, конечно, благополучно, а остальных двух он не знал и был принужден ответить на вопрос государя по обоим пунктам незнанием. «Скажи своему начальству, что я тебе сказал *дурак*», промолвил государь, и обошел, не говоря ни слова, палаты. Главный врач был в отлучке, и когда вернулся,

злополучный ординатор должен был повторить ему слова, сказанные государем. Но и этим дело не кончилось. На другой день главный доктор повез его к Енохину, главному военно-медицинскому инспектору, и он опять должен был повторять слова государя. Другое происшествие случилось с его товарищем, служившим в каком-то военном госпитале Западного края. В одну из своих поездок на Запад государь почему-то свернул с своего, известного наперед, маршрута в сторону и приехал неожиданно в этот госпиталь, как раз в дежурство товарища рассказчика. По словам последнего, это был парень очень умный и дельный, но кутила, вечно без денег и потому часто дежуривший за своих товарищей не в очередь. В этот день он предавался, по обыкновению, кейфу в дежурной комнате, дежуря в шинели вместо сюртука. Когда его известили с испугом, что подъехал государь, он не растерялся, схватил в дежурной комнате бинт и набор, велел прибежавшим доложить государю, что дежурный у больного, прибежал к первому попавшемуся под руку пациенту, сбросил с себя шинель и в одной рубашке и штанах стал приготовлять руку к кровопусканию. Государя повели к этой самой кровати, а доктор, молча и не отводя глаз от дела, пустил солдатику кровь. Государь досмотрел молча всю операцию до конца, затем, похлопав его по плечу, сказал: «молодец», и ушел в сопровождении прибежавшего за это время главного доктора осматривать госпиталь. Государь уехал довольный и велел представить дежурного врача к награде.

После защиты диссертации началось дело моего определения в медицинскую академию. Тогдашний профессор физиологии, Загорский, выходил в отставку, на его место назначался Якубович, а я имел поступить на ту же кафедру адъюнктом. По тогдашнему уставу академии, аспирант на кафедру физиологии должен был выдержать экзамен из этой науки и зоологии со сравнительной анатомией. Когда Зинин объявил мне об этом, держать экзамен из физиологии я согласился, а от зоологии отказался, как не занимавшийся ею. Но он меня успокоил, что это пустяки, чистая формальность. На этом экзамене сидели только два экзаминатора: Загорский, старик академик Брандт, читавший в академии зоологию, Зинин и я. Загорский поговорил со мной минуты две, а Брандт спросил, известно ли мне главное сочинение по инфузориям. Я ответил, что имя Эренберга мне, конечно, известно, но сочинения его не читал, так как не занимался зоологией. На второй вопрос я не мог ответить и не выдержал, заявив, что вовсе не занимался зоологией, предупредил об этом начальство и экзаменоваться не могу. Зинин пошептался со стариком, и сеанс кончился. Вскоре меня приняли адъюнктом по кафедре физиологии и заставили читать лекции до конца академического года.

Размышляя в эту минуту, стоил ли я тогда кафедры экспериментальной науки, говорю по совести — меньше, чем наши

теперешние ассистенты, не побывавшие за границей. Эти знакомы с физиологической практикой в очень разнообразных направлениях, а я умел пока владеть лишь лягушкой и видел, правда, в лаборатории Людвига много опытов, иногда даже ассистировал в них, но сам был действительно знаком только с теми приемами, которые входили звеном в мои работы. Приняли меня потому, что таких ассистентов в России еще не было и я, с своими ограниченными сведениями, был все-таки первым из русских, вкусивших западной науки у таких корифеев ее, как мои учителя в Германии. В последнем отношении мне завидовали позднее даже немцы.

Выручило меня на первых порах следующее обстоятельство. Учась в Берлине, я заказал Зауэрвальду его гальванометр для электрофизиологии, приобрел санный аппарат дю Буа-Реймона, его штативы для опытов с лягушками и привез все это богатство с собой в Россию, умея уже за границей обращаться с ним. Поэтому, исполняя приказ начать чтение тотчас же по получении места, я мог начать читать лекции по никем незнаемому в то время в России животному электричеству. В какой мере для России того времени это учение было новостью, может служить следующее обстоятельство. Лекции я составлял подробно, от слова до слова, и получил через это возможность напечатать их в течение этого же года в «Военно-медицинском журнале». Не знаю, кто мне посоветовал, но эта вещь была представлена на какую-то премию в академию наук, и я получил за нее 700 рублей.

К весне приехал в академию Беккерс, позже его Боткин, и эти были приняты адъюнктами уже без вступительного экзамена — первый в хирургическую клинику 4-го курса, а Боткин в терапевтическую того же курса.

Теперь будет уместно сказать несколько слов о том, какими судьбами все мы трое попали в академию.

Во главе ее стоял триумвират Дубовицкий—Глебов—Зинин, все трое — люди средних лет. Президент академии Дубовицкий был очень богатый помещик, ревностный служака из чести и, будучи близок с тогдашним военным министром Сухозанетом, получал большие куши из сундука министерства на благоустройство медицинской академии. В ученых делах он не был силен, да и не нуждался в этом — на то было у него два помощника, сам же он, как большой хлопотун, предавался неустанным заботам о внешнем порядке и благочинии вверенного ему обширного заведения. Забот ему, правда, было не мало. Академические здания не ремонтировались со времени их возникновения при императоре Павле; все надворные строения, не исключая ужасного анатомического театра, были деревянные; все приходило в ветхость, и Дубовицкий, страстный любитель строить, денно и нощно хлопотал о возведении новых зданий. Начало им было уже положено — построено отдельное здание для фи-

зической и химической лаборатории и обновлены небольшие клиники 4-го курса (клиники 5-го курса были в прикомандированном к академии 2-м сухопутном госпитале). Но на этом дело не остановилось: в первые же десять лет нашего пребывания в академии он построил обширные клиники Виллье и анатомо-физиологический институт. Перед нашим поступлением профессорский персонал в свою очередь требовал обновления: на некоторых кафедрах доживали свой век старики, и молодых сил совсем не было. Дубовицкий профессорствовал в Казани одновременно с Зининым, чтил его как большого ученого и, очевидно, отдал дело обновления профессорского персонала в его руки. Первым делом Зинин перетащил к себе на подмогу своего большого приятеля Глебова (они вместе учились в молодости за границей) из Москвы, когда тот выслужил в университете двадцать пять лет, и они стали орудовать в сказанном направлении. Из своих учеников в академии Зинин стал подготовлять будущего химика (Бородина) и будущего физика (Хлебникова), а медицинское обновление отдал, очевидно, в руки Глебова. Глебов же, как московский профессор, мог знать только москвичей; вероятно, знал нас или слышал о нас от товарищей; притом же Боткин, Беккерс и я были первыми русскими учениками за границей, после того как в конце царствования императора Николая посылки медиков за границу на казенный счет прекратились. Все это вместе и было причиной, почему нас взяли в академию.

На масляной я съездил в Москву свидеться со старыми приятелями и виделся также со своим прежним слугой, приятелем Фифочкой, теперь Феофаном Васильевичем Девятниным. За графинчиком водки и закуской в Большой Московской гостинице, где я остановился, он поведал мне историю своих успехов с тех пор, как мы расстались; о том, как слава его башмачного искусства, распространяясь по духовенству от прихода к приходу, достигла наконец Бориса и Глеба, где в воспитаннице священника он нашел невесту с приданым, поставившим его на ноги. Теперь у него была рабочая артель, и он был одним из поставщиков Королева. Жена оказалась очень дельной женщиной и не только умела справляться с артелью, но выучилась даже кроить, т.-е. быть головой башмачного дела, и умела держать супруга в струнке, если ему случалось загулять. Когда по окончании завтрака я стал угощать его папиросами, он угостил меня нарочно захваченной с собою настоящей гаванской сигарой, объяснив, что не иметь маленького запаса таких сигар ему нельзя, потому что за каждой сдачей товара фирме неизменно следует угощение главного приказчика в трактире завтраком с гаванской сигарой в конце. При прощанье услышал от него следующие слова: «Вот, Иван Михайлович, прежде я был для вас Фифочка, теперь стал Феофан Васильевич; с виду вы стали словно лучше, а в душе-то хуже, — нет в вас прежней простоты». Он был, конечно, прав, вспоминая прежние времена, когда

мы делили с ним радости и горе, и сравнивая былое с впечатлениями данной минуты.

Лабораторию мне дали в нижнем этаже надворного флигеля, рядом с анатомическим театром. Она состояла из двух больших комнат, служивших некогда химической лабораторией. Поэтому в первой комнате от входа был вытяжной шкаф, а в другой, по фасаду с двумя окнами, стоял во всю длину стены стол и над ним, в простенке между окнами, полки (очевидно, для реактивов). Были ли в этом помещении какие-нибудь инструменты, кроме ножниц, ножей и пинцетов, не помню, но наверное очень мало. Большой беды в этом, впрочем, не было — бюджет академии был роскошный, 200 000, и Дубовицкий не скупился на выписку инструментов. Много позднее я узнал еще одно свойство моей лаборатории: под комнатой, где я просидел восемь лет, находился заброшенный погреб с застоявшейся водой, которая, замерзая зимой, медленно оттаивала в остальную часть года. Этому погребу я обязан хворью в течение всей половины шестидесятых годов, от которой совсем избавился только в Одессе.

Летом я побывал в Симбирской губернии у родных и познакомился с новыми членами семьи: мужем одной из сестер, доктором Кастеном, врачом в соседнем имении Пашкова, женой одного из братьев и их маленькой дочкой Наташей. Встречен был всеми любовно и прожил у них соответственным образом. Для членов семьи, живших в деревне, это было, я думаю, самое счастливое время; все еще были молоды, жили без нужды и, как добрые люди, были любимы окружающими, — такое впечатление я вынес из этой поездки.

С осени 1860 года началось настоящее профессорствование в медицинской академии. У меня осталось несколько листков из того времени, свидетельствующих, что, готовясь к лекциям, я писал их от слова до слова. Из листков оказывается, что я читал: кровообращение, дыхание, всасывание веществ из пищевого канала, отделения, пластику тела и мышечную физиологию. Кровь, пищеварение и нервную систему взял себе штатный профессор физиологии Якубович, бывший в сущности гистологом.[1] Интересно было заглянуть в эти давно забытые листки через сорок три года. Оказывается, что я не во всех случаях умел отличать важное от второстепенного, не умел обозначать точно словами различных понятий и отличался вообще наклонностью к анекдотическим, иногда даже очень резким суждениям. Случались и наивности, а от грубых ошибок спасали немецкие учебники.

[1] Он учился в Дерпте, занимался микроскопическим строением спинного мозга, был отрекомендован учителем Рейхардтом Гумбольдту, как многообещающий исследователь строения центральной нервной системы, получил через Гумбольдта командировку за границу и был назначен профессором на место выходившего в отставку Загорского.

Помимо писания и чтения лекций, я приготовлял в этом году к печати очерки животного электричества.

1860 год памятен, я думаю, всякому, кто жил тогда в Петербурге. Все знали, что великий акт освобождения миллионов рабов вскоре совершится, и все трепетно ожидали его обнародования. С некоторых пор дышалось много свободнее, чем прежде; в литературе и в обществе зарождались новые запросы, новые требования от жизни; но в этом году общее настроение, как перед большим праздником, было напряженно-тихое, выжидательное, без всяких вспышек. Волна эта, конечно, коснулась и нас; но мы были новичками в городе, без связей с литературными кружками, и отпраздновали этот год, так сказать, семейно, в своем собственном маленьком кружке, радуясь свободным веяниям той эпохи и увлекаясь заманчивыми перспективами только что открывшегося перед нами поприща. Это было, конечно, очень счастливое время.

Летом 61 года я оставался в Петербурге, жил на Выборгской, ходил в свою лабораторию и занимался между прочим вопросом, не содержат ли съедобные грибы ядовитых веществ. Мне приносили, по заказу, решета сыроежек, и я обрабатывал их следующим образом: варил мелко измельченными в воде, отцеживал слизистый отвар, освобождал его от слизи уксуснокислым свинцом и сероводородом и выпаривал раствор почти досуха. Из большого количества грибов получалось небольшое количество темнобурой жидкости, слабо кислой реакции. Одной капли ее в спинной лимфатический мешок лягушки было достаточно, чтобы вызвать остановку сердца. Другими словами, я имел дело с открытым позднее в мухоморах мускарином, но не сумел получить это вещество из моих растворов. Предлагал заняться этим Бородину, но тот почему-то отказался.

В зиму 1861 года над двумя членами нашего кружка стряслась беда: Боткин заболел тяжелым тифом, но благодаря богу через шесть недель стал выздоравливать; а бедный Беккерс, пострадав почти всю зиму болезнью сердца, которая не значится в патологии как таковая, кончил в конце зимы трагически.

В этот год мы жили с ним на одной квартире и жили так, что сходились лишь за обедом, да иногда по вечерам, когда ходили в одно и то же место в гости. У него за год пребывания в Петербурге завелась небольшая практика и с нею ряд знакомств. Очень красивый и благовоспитанный молодой человек, с хорошими манерами (он был из французско-немецкой семьи), галантный дамский кавалер, говоривший по-французски как француз, ко всему этому чрезвычайно добрый и мягкий человек, он не мог не нравиться своим знакомым и пациентам. Этим и объясняется, что по вечерам он редко сидел дома и возвращался часто очень поздно, когда я уже спал; а вставать нужно было рано, да еще по приходе домой готовиться к лекциям. Я знал, что нашему слуге он приказывал будить себя немилосердно, стаскивая одеяло; но узнал лишь после, что иногда слуга

заставал его утром спящим в кресле за письменным столом. Такая жизнь продолжаться долго не могла, тем более что болезнь сердца была не из сладких, судя по его усталому, измученному виду в середине зимы. Месяца за два до его смерти мне принесли известие (в эту минуту Беккерс был дома): «ради бога следите за Беккерсом, он убьет себя». На этот раз дело обошлось благополучно — тот, кто принес известие, он же и предотвратил катастрофу. Вскоре за тем к Б-су приехала родственница-вдова; он уступил ей свою спальню, а сам переселился в кабинет. Она пролежала у нас, не выходя из комнаты, недели две, оправляясь от потрясения, причиненного смертью мужа, и уехала; но уехала ли из Москвы, не знаю. Беккерс как будто успокоился, и я уже перестал думать о прошлом, как вдруг утром какого-то злосчастного дня в конце 1861 г., едва я оделся, слышу необыкновенного тона зов. Бегу. Беккерс указывает на свой письменный стол со словами «цианистый калий и мое завещание», срывает с шеи галстук, идет в спальню и бросается на постель. На мои слова «дайте я вставлю вам палец в рот, чтобы вас вырвало», он успел только сказать, что не хочет жить, и через каких-нибудь пять минут его уже не стало. Кто и что погубило это золотое сердце, не знаю; но наверно не какие-либо профессорские неудачи в академии.

Еще будучи за границей, я слышал о зародившемся в среде русских женщин стремлении к высшему образованию и вернулся в Россию с готовым сочувствием такому движению. Осенью 61 года я познакомился с двумя представительницами нового течения, серьезно и крепко зараженными на подвиг служения женскому вопросу. Они и доказали это впоследствии, кончив курс в Цюрихе и выдержав экзамен в России на право практики. В то время они еще готовились держать экзамен из мужского гимназического курса, на что у них уходили вечера, а по утрам ходили в доступную тогда для женщин медицинскую академию, где слушали нескольких профессоров (между прочим и меня) и работали в анатомическом театре строгого Грубера, бывшего, однако, очень довольным их занятиями. Как было не помочь таким достойным труженицам! В конце академического года, ради поддержания в них энергии, я дал обеим такие две темы, которые требовали очень мало подготовительных сведений и могли разрабатываться ими у себя дома. Задача одной заключалась в том, чтобы ношением очков с цветными стеклами вызывать цветную слепоту к лучам данной преломляемости и сравнивать получаемые результаты с известными симптомами врожденной цветной слепоты. Другая имела изучать влияние тетанизации кожи на легкие тактильные раздражения в межполюсном пространстве и вне оного. Обе эти работы были в том же году напечатаны по-русски, а в следующем по-немецки.

Третьим событием этого года была попытка Н. Н. Зинина ввести меня в академию наук, начавшаяся без всякого ведома с моей стороны. Расскажу ее в том виде, в каком я узнал о ней,

хотя и не вполне, впоследствии. Кафедру анатомии и физиологии занимал в академии Бэр и, вероятно, хотел приготовить себе преемника, потому что до меня дошли позднее слухи, что кандидатом на это место он прочил Кюне. Должно быть, русская партия этому воспротивилась и выставила с своей стороны меня, как возможного кандидата. Повидимому, Бэр должен был уступить, но уступил условно, отложив вопрос до более подробного знакомства со мной. Вероятно, с этой целью старому академику Брандту, читавшему в медицинской академии зоологию, было поручено пригласить меня бывать у него в качестве товарища по медицинской академии. Иначе я не могу объяснить, откуда у него могло явиться такое желание — не из-за экзамена же, столь блистательно выдержанного мною у него при поступлении в медицинскую академию. Ничего не подозревая, я бывал в его семье в назначенные дни несколько раз и всегда заставал там двух академиков немцев — Шиффнера и Куника. Беседы происходили, конечно, на немецком языке, но без всяких ощутимых подходов узнать мой образ мыслей или степень моей учености. Кажется, это была проба на степень моей культурности, потому что об учености наводились справки у немецких профессоров, — много позднее Пфлюгер сказал мне это прямо. Вероятно, по получении таких справок, Зинин сказал мне однажды, что мне, как физиологу, следует представиться такому знаменитому и почтенному представителю той же науки в России, как Бэр, и свозил меня к нему на поклон. Вслед за тем он же объявил мне, что меня хотят выбрать в академию. Зная себе настоящую цену, я понял, что меня выбирают по поговорке: на безрыбье и рак рыба; к тому же я не имел никаких оснований думать, что окажусь достойным такой высокой чести и последующей деятельности; жить же с красными ушами не хотел и потому наотрез отказался. Вскоре за тем ко мне, на нашу квартиру с Беккерсом, приехал непременный секретарь академии, Миддендорф, уговаривать меня изменить решение, но, желая разом отделаться, я сказал ему, что не имею в виду посвятить себя исключительно ученой карьере и буду заниматься медицинской практикой. Тем дело и кончилось.

Кажется, в эту же зиму был устроен мною манометр для определения средней величины давления крови и произведены опыты с ним.

Как ни баловала меня судьба в течение этого года, но воспоминание о свободе заграничной жизни еще не угасло, и меня до такой степени тянуло на волю, что летом, по окончании всех занятий, я получил (с согласия проф. Якубовича взять на себя за известное вознаграждение мою долю лекций) годовой отпуск и осенью 62 года был уже в Париже, чтобы учиться и работать у Клода Бернара. Приехал я туда раньше, чем открылись лаборатории, и воспользовался свободным временем, чтобы съездить через Марсель восхитительным Средиземным

морем в восхитительный Неаполь. Имея в виду пробыть там лишь очень короткое время, я отдал себя тотчас же по приезде в руки проводника и побывал во всех достопримечательных пунктах города и его окрестностей, не исключая, конечно, вершины Везувия, Помпеи, Лазоревого грота на Капри, Собачьей пещеры на Байском берегу. Впоследствии я познакомился с Неаполем гораздо ближе, но теперь пробыл всего девять дней. На обратном пути в Марсель на небольшом пароходе итальянской компании Рубатино нас порядком качал свирепый, но безопасный мистраль, и ехали мы очень долго. В Марсель пароход пришел ночью; на пристани не было ни единого экипажа, и я был принужден взять в проводники мальчика, вызвавшегося свести меня в недалеко лежащий отель, где, по его словам, всегда останавливаются испанские епископы. Комната, которую я получил, должно быть, давно не знала испанских посетителей, потому что едва я лег в постель и затушил свечку, как меня начали терзать сотни голодных клопов; говорю без малейшего преувеличения, ибо видел, зажегши свечу, все стадо собственными глазами. Еле дозвонился портье, чтобы получить другую комнату.

Лаборатория Бернара (в Collège de France) состояла из небольшой комнаты, в которой он работал сам, и смежной с нею аудитории. В рабочей комнате на первом месте стоял вивисекционный стол и несколько шкафов с посудой и инструментами, а в аудитории перед скамьями для слушателей стол профессора на низенькой платформе. Я получил позволение работать за этим столом. За всю зиму моего пребывания там в лаборатории, кроме Бернара и его помощника Леконта, находился только старый отставной военный врач M. Ranch val, горячий поклонник Бернара, и я. Этот одинокий бессемейный старик, вероятно, скучал дома и ежедневно приходил в лабораторию. Бернар относился к нему с ласковой усмешкой, давал ему иногда в руки пинцет, чтобы он помогал ему при операциях, и, видимо, доставлял этим великое удовольствие старику. Познакомившись со мной, M. Rancheval подсаживался и ко мне во время моих опытов. Он был республиканец, ярый ненавистник Наполеона III, и мы с ним не мало прохаживались насчет этого «gredin et coquin du deux décembre». День проходил в лаборатории следующим образом. Утром, часов в 9, являлся я; швейцар коллежа отпирал мне вход в лабораторию, и я сидел за лягушками один или в обществе республиканца до прихода Бернара в его рабочую комнату, что случалось не ранее как в 1-м часу. Вместе с ним появлялся его помощник, делались приготовления к опытам за вивисекционным столом и производились таковые. Я допускался к ним в качестве зрителя и удалялся в аудиторию по окончании оных. В это время к Бернару очень часто приходил его друг Бертело, знаменитый уже и в то время, но еще не бывший членом академии, хотя уже был профессором в Collége de France. При этих беседах я не присут-

ствовал и не был даже ни разу представлен Бертело. Ко мне Бернар относился, конечно, вежливо, а к моей работе — совершенно безучастно; единственные редкие случаи наших бесед состояли в вопросах с его стороны, как смотрят в Германии на тот или другой интересующий его предмет. (Нужно заметить, что он не знал немецкого языка и был очень мало знаком с физиологической литературой Германии; на его лекциях я слышал только два немецких имени: Валентина и Вирхова.) Через год после меня к нему приехал Кюне; с этим он сошелся и через него познакомился с немцами;[1] это я слышал от самого Кюне. Бернар был первостепенный работник в физиологии, считался самым искусным вивисектором в Европе (как считается, я думаю, ныне наш знаменитый физиолог Ив. Петр. Павлов) и был родоначальником учения о влиянии нервов на кровеносные сосуды и создателем учения о гликогене в теле; при всем том очень тонкий наблюдатель (как это сказалось, напр., в его опытах с иннервацией слюнной железы) и трезвый философ. Но он не был таким учителем, как немцы, и разрабатывал зарождавшиеся в голове темы всегда собственными руками, не выходя, так сказать, из своего кабинета. Вот почему приезжему к нему на короткое время, как я, выучиться чему-нибудь в лаборатории было невозможно.

В эту зиму Реньо читал в Collège de France курс термометрии, и я сидел на его лекциях. В течение этого в высшей степени поучительного курса он описал между прочим одну модификацию его воздушного термометра, дающую возможность наблюдателю измерять, сидя у себя в кабинете, температуру почвы или слоев воздуха над нею в любые часы. В этой модификации манометр оставался в комнате наблюдателя, а воздушный баллон выводился наружу при посредстве очень тонкой металлической трубки любой длины, хотя бы в несколько метров. У меня, как человека, много возившегося с грубым абсорциометром Лотара Мейера (где приемник для поглощающей жидкости тоже соединялся с манометром, но посредством каучуковой трубки) и на деле знавшего его недостатки, тотчас же родилась мысль воспользоваться тонкой металлической трубкой для устройства абсорциометра, что и было впоследствии мною сделано. С этой целью я вывез из Парижа очень большой запас таких трубок.

Мысли мои о газах были, однако, на многие годы отвлечены работой, которую я производил в лаборатории Бернара, в об-

[1] Все описываемое относится ко времени до немецкого погрома, когда французы вообще недостаточно ценили то, что делалось за пределами Франции; но и в последующий затем период недостаточное знание французами немецкого языка все еще продолжало сказываться. Мне доподлинно известно, что, в то время, когда открытие Кохом туберкулина, как противочахоточного средства, волновало всю Европу, коллеги нашего знаменитого Мечникова просили его переводить сыпавшиеся в то время в Германии журнальные статьи.

ществе милейшего M. Rancheval'я. Описание их требует маленького предисловия.

Вопрос о том, что воля способна не только вызвать, но и подавлять движения, был известен, вероятно, с тех пор, как люди стали замечать на себе самих и на своих ближних способность угнетать невольно порывы к движениям (напр., кашлю или чиханию, движениям от зуда или боли и т. под.) и противостоять вообще искушениям на различные действия. Роль нервной системы в движениях давно уже стала предметом научного исследования, но первый луч в темную область угнетения движений был брошен лишь в 1845 г. достопамятной работой Эд. Вебера с тормозящим действием блуждающего нерва на сердце. В этой работе он установил два факта: ускорение сердцебиений вслед за перерезкой нерва и замедление их до полной диастолической остановки при раздражении внешнего отрезка перерезанного нерва, откуда заключил, что нормально из головного мозга должны итти непрерывно по нерву слабые возбуждения, умеряющие деятельность сердца. Рядом с этим он заметил вскользь, что известное уже в то время усиление спинномозговых рефлексов, вслед за отделением спинного мозга от головного, происходит, вероятно, таким же путем, т. е. что нормально идут от головного мозга слабые тормозящие влияния на отражательную деятельность спинного. Насколько велик был интерес, возбужденный открытием Вебера в Германии, доказательством служит тот шум, который сопровождал через десять лет второе подобное же открытие Пфлюгера с действием большого черепного нерва на движение кишек; заметка же Вебера касательно головного и спинного мозга оставалась словно незамеченной, а между тем ею непосредственно ставилась даже форма пробных опытов. Причин этому было две: с одной стороны, исследованиями Гельмгольтца и дю Буа-Реймона внимание немецких физиологов было надолго отвлечено от нервных центров в сторону более доступных исследованию нервов; с другой стороны, опыты над головным мозгом были у немцев не в чести с тех пор, как опыты в этой области Мажанди, Лонже и Шиффа (различные перерезки средних частей мозга с вытекающими отсюда нарушениями локомоции) дали запутанные и разноречивые результаты. В Германии ходили слова Людвига по поводу этих опытов: «это все равно, что изучать механизм часов, стреляя в них из ружья». Как бы то ни было, до 1861 г. никто не дотронулся до заметки Вебера, и опытная проверка его предположения выпала на мою долю. Благодаря существовавшему уже тогда очень простому и верному способу Тюрка измерять на лягушке легкость происхождения кожно-мышечных рефлексов, я взял для опытов это животное.

Форма опытов, по смыслу дела, была очень проста: перерезать послойно головной мозг спереди, мерять рефлексы после

перерезки, прикладывать раздражение к обнаруженному поперечному разрезу головного мозга и снова мерять рефлексы. Сначала я пробовал прикладывать к мозгу электрическое раздражение,[1] но эта форма оказалась очень неудобной и даже мало пригодной, а поэтому была заменена химическим раздражением поперечных разрезов (поваренной солью), действие которого долго ограничивается раздражаемой поверхностью, не проникая в глубь мозга (чего нельзя сказать о раздражении электрическим током, как бы слабо оно ни было). Принято было, конечно, во внимание, что полученные эффекты, связанные с раздражением определенных мест, не зависят от боли и распространяются в спинной мозг. На всех этих основаниях и был сделан вывод, что в головном мозгу лягушки существуют центры, из которых выходят тормозящие влияния на отражательную деятельность спинного. В печати эти центры были названы мною «Centres modérateurs de l'action réflexe» по-французски и «Hemmungscentra» по-немецки, что послужило впоследствии поводом к нападкам на смысл этих опытов. Во Франции этот труд, по напечатании его, оставался в ту пору мало замеченным, но в Германии, куда я отправился из Парижа, он встретил теплый прием. Прежде всего я показал опыты подробно Людвигу, в присутствии работавшего тогда у него Прейера (потом профессора физиологии в Иене), и оба, особенно последний, остались довольны моими объяснениями; затем показал их Брюкке, по его желанию, и, наконец, проездом через Берлин, дю Буа-Реймону, встретившему меня уже очень дружелюбно. Дело демонстрирования, с разговорами по поводу явлений, прошло и здесь настолько благополучно, что закончилось вопросами профессора о постороннем предмете, именно о движении в среде русских женщин, — работы моих учениц были напечатаны в немецком журнале и были, конечно, уже известны дю Буа-Реймону. По его словам, он не понимал причин такого движения, так как ему никогда не доводилось слышать в знакомых семьях, что женщины недовольны своим положением и стремятся стать на самостоятельную ногу. Еще менее оно было понятно знакомым мне из прежнего времени молодым немцам. Эти даже подсмеивались над ним, не предчувствуя, что со временем двери университета откроются для женщин в Германии раньше, чем в России.

В Петербург я вернулся в мае 1863 г. и все лето просидел за писанием вещи, которая играла некоторую роль в моей жизни. Я разумею «Рефлексы головного мозга».

В моей докторской диссертации 1860 г. встречаются следующие два тезиса:

[1] Не могу не припомнить при этом с благодарностью прелестного, доброго старика Румкорфа, который на мою просьбу дать на прокат маленький индукционный снаряд дал мне его на неопределенно долгое время даром, не взяв, конечно, никакого залога.

«все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлекторные» и

«самый общий характер нормальной деятельности головного мозга (поскольку она выражается движением) есть несоответствие между возбуждением и вызываемыми им действием и движением».

Первое положение понятно само собою, а второе требует следующего маленького разъяснения: вне влияния головного мозга чувственные возбуждения и вызываемые ими отраженные движения идут по силе параллельно друг другу, т. е. слабым возбуждениям соответствуют слабые же движения и наоборот, а под влиянием головного мозга такого соответствия нет — слабое возбуждение может вызывать очень сильное движение (напр., вздрагивание всем телом при неожиданном легком прикосновении), и наоборот, очень сильное раздражение может вовсе не выразиться движением (когда, напр., человек выносит неподвижно сильную боль). Если к этому прибавить, что докторант не мог не знать трехчленного состава рефлексов и психологического значения среднего члена в актах, кончающихся произвольным движением, то выходит, что мысль о перенесении психических явлений, со стороны способа их совершения, на физиологическую почву должна была бродить у меня в голове уже во время первого пребывания за границей, тем более, что в студенчестве я занимался психологией. Нет сомнения, что эти мысли бродили в голове и во время пребывания моего в Париже, потому что я сидел за опытами, имеющими прямое отношение к актам сознания и воли. Как бы то ни было, но по возвращении из Парижа в Петербург мысли эти, очевидно, улеглись в голове в следующий ряд частью несомненных, частью гипотетических положений:

в ежедневной сознательной и несознательной жизни человек не может отрешиться от чувственных влияний на него извне через органы чувств и от чувствований, идущих из его собственного тела (самочувствия);

ими поддерживается вся его психическая жизнь, со всеми ее двигательными проявлениями, потому что с потерей всех чувствований психическая жизнь невозможна (последнее предположение подтвердилось лет через двадцать известными мне очень редкими случаями наблюдения над людьми с потерей всех почти чувств);

подобно тому как показания органов чувств суть руководители движений, так и в психической жизни желания или хотения суть определители действий;

как рефлексы, так и психические акты, переходящие в действие, носят характер целесообразности;

началом рефлексов служит всегда какое-либо чувственное влияние извне; то же самое, но очень часто незаметно для нас, имеет место и относительно всех вообще душевных движений (ибо без чувственных воздействий психика невозможна!);

рефлексы кончаются в большинстве случаев движениями; но

есть и такие, которым концом служит угнетение движений; то же самое в психических актах: большинство выражается мимически или действием; но есть множество случаев, где концы эти угнетены и трехчленный акт принимает вид двучленного, — созерцательная умственная сторона жизни имеет эту форму;

страсти коренятся прямо или косвенно в так наз. системных чувствах человека, способных нарастать до степени сильных хотений (чувство голода, самосохранения, половое чувство и пр.), и проявляются очень резкими действиями или поступками; поэтому могут быть отнесены в категорию рефлексов с усиленным концом.

Эти положения и составили канву, послужившую основой для написанного мною небольшого трактата под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Редактор медицинской газеты, куда я отдал рукопись для напечатания, заявил мне, что цензура требует перемены заглавия (думаю, что скорее сам редактор находил его несколько неудобным для чисто медицинской газеты), и вместо прежнего заголовка я поставил слова «Рефлексы головного мозга».

Из-за этой книги меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма. К сожалению, по существовавшим тогда цензурным правилам, откровенное разъяснение этих недоразумений в печати было невозможно, а устранить их было не трудно. В самом деле, в наиболее резкой форме обвинение могло бы иметь такой вид:

всякий поступок, независимо от его содержания, считается по этому учению предуготовленным природой данного человека; совершение поступка приписывается какому-нибудь, может быть даже совершенно незначащему толчку извне, и самый поступок считается неизбежным; откуда выходит, что даже злой преступник не виновен в содеянном злодеянии; но этого мало, — учение развязывает порочному человеку руки на какое угодно постыдное дело, заранее убеждая его, что он не будет виновным, ибо не может не сделать задуманного.

В этом обвинении пункт развязывания рук на всякое постыдное дело есть плод прямого недоразумения. В инкриминируемом сочинении рядом с рефлексами, кончающимися движениями, поставлены равноправно рефлексы, кончающиеся угнетением движений. Если первым на нравственной почве соответствует совершение добрых поступков, то вторым — сопротивление человека всяким вообще, а следовательно и дурным, порывам. В трактате не было надобности говорить о добре и зле; речь шла о действиях вообще и утверждалось лишь то, что при определенных данных условиях как действие, так и угнетение действия происходят неизбежно, по закону роковой связи между причиной и эффектом. Где же тут проповедь распущенности?

Что же касается обвинения в том, что учением устраняется понятие виновности и наказуемости, то по этому поводу мне пришлось высказаться в 70-х годах в Одессе, на обеде, который

давал д-р Мюнх в честь приезда своего приятеля, знаменитого московского адвоката, имени которого я не припомню. Этот гость прямо сказал мне, что я своим учением, уничтожая элемент виновности, устраняю этим элемент наказуемости. На это я ответил так: утверждая невменяемость человеку в вину его действий вообще, я считаю одинаково невиновным в деянии и преступника, и наказующую его власть; но преступления, как зла, я не оправдываю; различных степеней испорченности преступников и их непригодности к жизни на свободе я не отрицаю; следовательно, признаю за властью право ограждать общество от зла.

По возвращении в 1863 году в Петербург я начал вести оседлую жизнь (стал, должно быть, богаче): нашел чистенькую квартиру из трех комнат, обзавелся нехитрым хозяйством, обедал дома и стал даже изредка зазывать приятелей на вечера, которые в шутку назывались «балами», так как, кроме освещения комнат a giorno и чая со сластями от неизбежного в то время для всех обитателей Литейной части Бабикова,[1] ничего не полагалось. У Боткина же к этому времени устроились известные из описания его друга Н. А. Белоголового субботы. У нас обоих завязались новые знакомства, и жизнь потекла на долгие годы так, как она идет у всех рабочих вообще — неделя за делом, а там отдых в кружке приятелей. Приятели наши того времени были все люди хорошие, работники, как мы, не нуждающиеся ни в каких особенных прикрасах к после-недельному отдыху, кроме простой дружеской беседы. За все последующие семь лет я помню только два вечера с танцами — один, устроенный по подписке в зале гостиницы Клея, и другой на дому у Боткина.

Из новых приятелей я особенно близко знал Грубе́ров, мужа и жену, и опишу эту оригинальную пару прежде всего.

В свою бытность профессором медицинской академии Пирогов выписал из Праги ассистента Гиртля, Грубера, и определил его прозектором анатомии при медицинской академии. Без языка и знания обычаев и уставов академической среды (довольно-таки темной в то время), при этом в высшей степени непрактичный в обыденной жизни, Грубер должен был нередко делать промахи, действуя и говоря не в тон окружающим, и вынес из первых лет своего пребывания в России такое впечатление, словно он был окружен врагами. Если мои справедливые требования и исполнялись время от времени, говорит он, то всегда с прибавкой: «ах, этот проклятый немец!» Прибавка эта была,

---

[1] Да и в этом скромном угощении случались прорехи, которые, по молодости публики, служили, однако, потехой, а не огорчением. Дело в том, что главный приказчик Бабикова был купец старого закала и при всяком удобном случае норовил подсунуть в хорошее что-нибудь негодное и на укоры покупателя отвечал обыкновенно совершенно спокойно: «Наше дело продать-с, ваше дело смотреть-с». Все это было, конечно, известно и моим гостям.

конечно, во многих случаях шутливая, а он принимал ее всерьез. Удержали Грубера в России его беззаветная любовь к анатомии и такое богатство поступавшего в его руки анатомического материала, о котором он и мечтать не мог за границей. Знал он одну анатомию, считал ее одним из китов, на которых стоит вселенная, и с утра до ночи занимался такими вещам (аномалиями строения тела), которые требовали громадного материала, так как ему, по смыслу дела, приходилось не только находить сравнительно редкие аномалии, но и вести им статистику, т. е. определять численное отношение аномалии к норме. В этом отношении ежегодные занятия сотен студентов в анатомическом театре были для него кладом. Он с первых же лет завел книгу, в которой записывалось число всех выданных в течение года препаратов и число замеченных в них (им самим, его ассистентами и даже натасканным на эти поиски фельдшером) аномалий. С течением времени книга эта достигла, разумеется, колоссальных размеров и была сокровищем, хранение которого поручалось лишь главному или наиболее любимому из ассистентов. Если таковой впадал к нему в немилость, то сокровище от него отбиралось.[1] Чувство долга, вытекающее из сознания, что он поставлен быть рассадителем анатомических знаний, и чувство справедливости было развито в Грубере до непостижимой для нас, русских, степени. Так, экзаменуя ежегодно сотни лиц (при сдаче препаратов студентами, докторантами и прикомандировывавшимися к академии военными врачами), он прогонял неудачников *до пяти раз,* не допуская лишь до шестого. Таким образом, вся его жизнь проходила в непрерывных экзаменах и описывании аномалий. В один особенно счастливый год он с гордостью говорил нам, стукнув кулаком по столу, что написал в этом году hundertundvierzig Abhandlungen! Вирхов сначала помещал в своем журнале его статьи, но когда они посыпались как дождь, отказался, и Грубер печатал их уже отдельными оттисками. Считая себя человеком, заслуживающим почета, он крайне любил свои юбилеи, приготовлял к ним пламенные речи и сам описывал их на немецком языке (описания эти были, кажется, изданы Браумюллером в Вене). Добрый в душе, он держал себя очень сурово в анатомическом театре, отрывисто командуя

[1] Подобный же, но еще более оригинальный случай любви к записной книжке я слышал от Людвига. Дело происходило в Гейдельберге в 20-х годах прошлого столетия. У известного химика и гофрата Тидемана были: записная книжка, в которую вносились ежедневно все впечатления и приходившие в голову мысли, молоденькая дочка в возрасте невесты и молодой ассистент, будущий известный Бишофф. Дочка и ассистент полюбили друг друга и долго боялись суровости гофрата, но, наконец, Бишофф решился просить у него руки дочери. Разумеется, он был прогнан, как Lausbul возмечтавший о дочери гофрата. Думали, гадали влюбленные, как помочь беде, и, наконец, нашли средство. У гофрата пропала записная книжка; он метался несколько дней, как угорелый, и, прозрев, наконец, истину, сказал уже без злобы ассистенту: «Ну, бери дочь и отдай мне книжку», что, конечно, и совершилось.

своими подчиненными. Требовал даже, чтобы они являлись встречать его на вокзал, когда он после каникул возвращался из-за границы в Петербург. Эти черты он заимствовал от своего учителя Гиртля, перед которым трепетал в былые времена сам, и вообще считал себя неограниченным повелителем в анатомическом театре (студенты звали его выборгским императором). Мне стоило один раз большого труда убедить его в том, что он не имеет права прогнать от себя назначенного к нему начальством ассистента. Вечно занятый своей анатомией и аномалиями, он на все остальное смотрел словно вскользь и, схватывая в окружающих людях лишь наиболее выдающиеся черты, делил их на следующие категории: alte Esel — это были все прежние старые профессора академии, со включением, впрочем, в эту категорию и одного настоящего академика; Schweinsköpfe — все недоброжелатели анатомического театра; Lausbuben — не нравящиеся молодые люди; gute Kerle — приятели первого разряда, и pfiffige Kerle — любимцы Грубера, к которым он причислял Пирогова и Боткина. Первый заслужил это название своими насмешками над архаическими порядками ненавистной Груберу академии старого времени, а второй — веселыми небылицами, которыми он любил угощать Грубера, зная его вкусы.

В жены этому чудаку бог послал женщину, с виду тоже немного чудачку, но в сущности самых высоких душевных качеств. Своему «Мутцерлю» (так она звала мужа) она была предана столь же беззаветно, как тот анатомии, была его нянькой, зорко следила за тем, чтобы ничто не мешало его занятиям, помогала ему в них, насколько умела,[1] и нередко просиживала целые вечера в анатомическом театре с чулком в руках, чтобы не оставлять одним своего дитятка. Чистая душой, искренняя, пылкая и храбрая — последнее она доказала на деле, спасая не однажды студентов от опасности — она называла все вещи своим именем, бранила, не стесняясь, всякую кривду и, наоборот, готова была целовать старого и малого за всякое доброе дело. Уверен, что в случае нужды она стала бы защищать своего Мутцерля с опасностью для жизни. А он хотя и любил ее, но словно не замечал, что вся жизнь бедной женщины уходит на служение ему, и довел ее своим бессознательным эгоизмом до того, что она, наконец, не понимала, как можно ей одной, без мужа, ехать в театр или в гости. Лично ей более чем сорокалетняя жизнь в России не принесла никаких радостей, но ее честная душа не могла не полюбить молодежь за ее часто необдуманные, но всегда честные порывы к добру; как жена Грубера, она полюбила и академию за почет, оказываемый ее мужу, и умирая завещала едва ли не все свое состояние медицинской

[1] Раз, например, весной понадобился Груберу заяц. Густи (так он называл жену) обегала чуть не все рынки и, наконец, на Сенной наткнулась на сметливого в купеческом смысле рассейца, который и продал ей гнилого зайца за шесть рублей. Это рассказывала она сама, ругая при этом любезно своего Мутцерля за его ученые прихоти.

академии на стипендии студентам. Большой приятель Груберов и мой, Евг. Венц. Пеликан, дослужившийся уже в то время до чина действительного статского советника и директорства в медицинском департаменте, следовательно видавший на своем веку много видов, говорил мне, собираясь к Груберам в гости, не иначе, как «поедемте к младенцам». Воспитанный на сладкой еде и начинавший уже тяжелеть, он непритворно восхищался венскими шнитцелями М-me Грубер, которая в девичестве училась поваренному искусству в Праге у повара какого-то чешского магната и любила угощать Пеликана, как настоящего ценителя ее искусства.

По субботам у Боткина собиралась обыкновенно мужская компания, и Грубер был завсегдатаем суббот. Я же в семье Груберов играл роль истолкователя всего, чего они не понимали в русской жизни, поэтому и здесь Грубер садился подле меня, чтобы в случае чего-нибудь непонятного в разговоре прибегнуть к моей помощи. Если с ним случалась такая заминка, я получал толчок в бок со словом «Sic!» и уже знал, что делать.

О Пеликане, каким он был до знакомства с нашим кружком, я знаю лишь по слухам и очень бегло. Он принадлежал к числу тех несчастливцев, которые проводят молодость в холе, с сильной рукой за спиной, и, будучи мягки по природе, дают этой руке волю вести себя по пути житейского благополучия. Так, по окончании медицинской школы его вводят в аристократический круг, назначают полковым врачом в конно-гвардейский полк, который служил и в то еще время питомником государственных людей. Отсюда Пеликан вынес между прочим убеждение, что будущие государственные мужи черпали свою мудрость из романов Дюма-отца. Представленный этому кружку в достаточной мере, он покидает его, едет за границу для усовершенствования в науках и делается профессором судебной медицины, с тем чтобы при первом удобном случае променять ученую карьеру на чиновническую. В какой мере играли в последнем превращении его личные или навязанные ему извне вкусы, я не знаю, но к нашему приезду, будучи уже крупным чиновником, он не имел в себе ничего чиновнического. Встретив нас, словно старых знакомых, приехавших из-за границы с интересными новостями, он тотчас же сблизился и стал на равную ногу с нами. Выше было уже сказано, что по приезде в Петербург я застал его, директора департамента, за лекциями в очень скромной аудитории Пассажа. В первые же годы нашей жизни в Петербурге он основал под редакцией Ловцова журнал «Судебно-Медицинский Вестник»: значит, любовь его к научному делу была еще налицо. Иметь в молодости за спиной сильную руку, конечно, удобно и, может быть, даже очень полезно, если она толкнет молодого человека на настоящую дорогу, но в данном случае последнего, я думаю, не случилось. На своем пути он должен был встречать не мало искушений; не будучи бойцом, был, вероятно, вынужден делать по временам уступки и пре-

вратился в тип усмиренного жизненной практикой человека, сохранившего, однако, способность различать истинное добро от официального. Мне был известен его настоящий образ мыслей; рыцарски честный д-р Ловцов, член Боткинского кружка,[1] имевший с Пеликаном много дела по редакции журнала, был предан ему всей душой и всегда отзывался о нем, как о превосходном человеке; наконец, его любила чуткая ко всему доброму М-me Грубер, хотя и знала за ним из прошлого некоторые грехи по женской части. Случайно Пеликан сыграл некоторую роль и в моей судьбе. Когда я вышел из медицинской академии (об этом речь ниже), вскоре за этим Одесский университет выбрал меня профессором физиологии на физико-математический факультет, но Ив. Дав. Делянов, замещавший тогда находившегося в отпуску графа Толстого, не решился или не хотел дать делу ход в течение почти полугода, с осени 1870 по весну 1871 г. Весной 71 г. в Константинополе имела собраться международная комиссия по противохолерному вопросу, и Пеликан отправился туда делегатом русского правительства. Проездом через Одессу он встретился с тамошним попечителем округа Голубцовым, и между ними произошел разговор на мой счет. При этом нужно заметить, что Голубцов был медик, и Пеликан, как крупное лицо в медицинском мире, имел в его глазах большое значение. Зная по слухам, что он лично знаком со мною, Голубцов поинтересовался узнать, действительно ли я очень опасный и вредный человек для молодежи, и прибавил, что это обстоятельство мешает моему назначению в университет. Пеликан на это даже рассмеялся и настолько уверил Голубцова в моей безвредности, что тот взял мое назначение на свой страх, и я был утвержден. Всю эту историю я слышал от самого Пеликана.

Хотелось бы помянуть добрым словом еще одного близкого приятеля того времени, умного, живого, даровитого Владимира Ковалевского, который, к сожалению, кончил слишком рано, потому что жил слишком быстро. Нарисовать его портрет мне однако не под силу — уж слишком был он подвижен и разносторонен, поэтому ограничусь перечислением его титулов, с маленькой иллюстрацией к ним. Вот его титулы в историческом порядке: правовед по школе, любитель естествознания по выходе из нее, переводчик, крупный издатель, преимущественно естественноисторических сочинений (напр., «Жизни животных» Брема), бескорыстный освободитель Софьи Васильевны Круковской от мнимого родительского ига, что, однако, дало ей возможность сделаться знаменитым математиком, немецкий студент в течение нескольких лет, вернувшийся из-за границы геологом, неудачный для своего кармана строитель домов и профессор геологии, не успевший отдохнуть в этой тихой пристани. А вот и иллюстрации к его титулам. Живой, как ртуть, с головой, полной

[1] Где его называли «последним из маркизов» за тонкость манер и рыцарские понятия о чести.

широких замыслов, он не мог жить, не пускаясь в какие-нибудь предприятия, и делал это не с корыстными целями, а по неугомонности природы, неудержимо толкавшей его в сторону господствовавших в обществе течений. В те времена была мода на естественные науки, и спрос на книги этого рода был очень живой. Как любитель естествознания, Ковалевский делается переводчиком и втягивается мало-помалу в издательскую деятельность. Начинает он с грошами в кармане и увлекается первыми успехами; но замыслы растут много быстрее доходов, и Ковалевский начинает кипеть: бьется, как рыба об лед, добывая средства, работает день и ночь и живет годы чуть не впроголодь, но не унывая. Бросает он издательскую деятельность не потому, чтобы продолжать ее было невозможно, а потому, что едет с женой за границу учиться. Дела свои он передает другой издательской фирме в очень запутанном виде, потому что вел их на широкую ногу, в одиночку, без помощников и пренебрегал бухгалтерской стороной предприятия. Когда дела были распутаны, оказалось, что издано было им более чем на 100 000 и он мог бы получать большой доход, если бы вел дела правильно. Кто не знает из биографических данных Софьи Васильевны, какую бескорыстную роль играл Ковалевский в ее замужестве. Это было с той и другой стороны увлечение тогдашними течениями в обществе. За границей жена училась математике, а муж — естественным наукам. Прожили они там, я думаю, лет пять, и ему следовало бы отдохнуть от угара издательской деятельности. Но он, к сожалению, вынес из нее не совсем верную мысль, что можно делать большие дела с небольшими средствами. Плодом этой мысли был период домостроительства в Петербурге, кончившийся крахом. Что он, бедный мечтатель-практик, выстрадал за это время, и сказать нельзя. Очутился, наконец, у тихой пристани профессорства, но уже поздно — слишком сильно кипел в жизни.

Ковалевский не принадлежал к Боткинскому кружку. С ним я познакомился в начале его издательской деятельности, когда моя будущая жена — мой неизменный друг до смерти — и я стали заниматься переводами, что началось с 1863 года.

В этом году вход в медицинскую академию был закрыт для женщин, и обе мои ученицы, продолжая гореть желанием жить самостоятельным трудом и служить человечеству, чуть было не обрекли себя на жизнь в киргизских степях. Дело в том, что тогда уже было заявлено начальством Оренбургского края о желательности иметь для степного магометанского населения женщин-медиков в виду того, что женщины-магометанки упорно уклоняются от помощи медиков-мужчин. Слыша об этом, обе молодые энтузиастки решились дать начальству подписку в том, что они отправляются в степи, лишь бы им позволили учиться в академии.

В это время они уже имели в кармане свидетельство о выдержании ими экзамена из мужского гимназического курса.

У меня нехватило тогда рассудка понять, что две молодые женщины, отправляясь в дикие степи с полуторамиллионным населением, обрекают себя на погибель без существенной пользы делу, и я подал, в желаемом ими смысле, докладную записку тогдашнему директору канцелярии военного министра (впоследствии туркестанскому губернатору) Кауфману. К счастью, на эту записку не последовало никакого ответа, и мои приятельницы избавились от грозившей им беды. Говорю это серьезно, потому что, зная их образ мыслей и настроение, уверен, что они отправились бы в степи, раз им было дано формальное обещание. Засим одна из них отправилась через год учиться медицине за границу, а другая временно осталась дома и села за переводы, благо была разносторонне образована, знала языки и умела писать по-русски.

★

Вчера, когда я впервые коснулся этого важного пункта о моей жизни и мне стало припоминаться все, чем была для меня вплоть до гроба эта переводчица, я долго размышлял ночью, а сегодня утром пишу ее портрет спокойно, без малейших прикрас и преувеличений.

В труде она была не только товарищем, но и примером. В ее имении была лошадь, по прозванию Комар, отличавшаяся тем, что в упряжи, без всякой понуки, словно из чувства принятой на себя обязанности, держала постромки всегда туго натянутыми, а в случае нужды тянула из всех сил, даже усталая, работая часто за других. Это был образ Марьи Александровны во всех ее занятиях — в переводах, в делах по деревенскому хозяйству. Как Комар вел свои дела на чистоту, так и М. А.: переводы ее не требовали постороннего редакторства, именье свое она получила в руки расстроенным и поправила его настолько, что оно считалось одним из образцовых в уезде. Последним она была впрочем обязана не только своему трудолюбию, но и другому еще свойству своей природы: она не выносила прорех ни в чем, ни в платье, ни в хозяйстве, ни в жизни — как только они появлялись, она старалась не давать им разрастись в дыру и тотчас же принималась чинить (была портнихой и в фигуральном и в действительном смысле слова). Бывали случаи в ее жизни, где заделка прорех, происходивших обыкновенно не по ее вине, требовала с ее стороны долгих и мучительных усилий, но она все-таки штопала, штопала, и прореха закрывалась. Бессребренница по природе и, как истая преданная делу работница, она мало думала о внешних прикрасах жизни для себя, но любила, насколько позволяли средства, доставлять их тем из близких, которых они радовали. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, это книги, художественные альбомы, изредка театр или концерты и еще реже поездка за границу в любимую больше всего Италию. За этим обликом деятельной, умной и образованной работницы, стояла женщина, умеющая владеть собою, с горячим сердцем, способ-

ным на деятельное добро. Из Цюриха, в конце ее ученья и в последние стадии франко-прусской войны, отправилась во Францию в окрестности Бельфора, на помощь раненым, партия медиков, под предводительством профессора хирургии Розе, и она поехала с ними в качестве сестры милосердия. На ее долю выпадала вся грязная работа около несчастных остатков армии Бурбаки, в грязи, лохмотьях, с отмороженными ногами. Выдержала искус до конца. Да и у себя в деревне она не брезгала впоследствии людскими немощами крестьян и помогала в течение лета настолько серьезно и умело, что заслужила доверие населения и получила благодарность от земства. Для своих близких она была постоянно заботливой нянькой — это была едва ли не главная черта в сердечной стороне ее природы. Однако на своих близких она смотрела открытыми глазами и не терпела больше всего лжи и фальши. Честность до щепетильности она унаследовала от отца, старого весьма образованного генерала.

Таким образом, в ее природе были все условия, чтобы давать близкому человеку, умеющему отличать золото от мишуры, счастье в молодости, в зрелом возрасте и в старости.[1]

★

Между происшествиями 1864 года у меня врезалось в памяти следующее событие.

В Литве в числе взятых в плен польских повстанцев оказался подпоручик русской службы Малевич (или Малевский, не помню), контуженный во время стычки в голову и привезенный в Вильну в бессознательном состоянии. По распоряжению Муравьева он был подвергнут в госпитале целому ряду испытаний на притворство, а когда пробы не дали ясного ответа, то вся история испытаний была прислана Муравьевым в медицинскую академию на рассмотрение и заключение. Рассмотрение всего дела академия поручила Балинскому, Боткину и мне.

По доставленному нам журналу испытаний они заключались в следующем:

За дверью комнаты, где лежал больной, денно и нощно дежурили посменно фельдшера, наблюдая за ним через маленькое отверстие в двери.

Больной не просил есть — и его не кормили.

Больной не выпускал мочи — и его не катетеризовали три дня, так что пузырь растянулся до пупка.

Больного неожиданно окачивали ледяной водой — ежился, дрожал, но не просыпался.

---

1 *Примечание.* Весь текст от слов «Вчера, когда я впервые коснулся этого важного вопроса и т. д.» до слов «...в зрелом возрасте и в старости» — печатается впервые и был обнаружен проф. О. П. Молчановой при сличении текста издания «Автобиографических записок» 1907 года с рукописью И. М. Сеченова. Повидимому, эта чудесная зарисовка облика друга и жены — М. А. Сеченовой — была опущена редактором первого издания по просьбе М. А. Сеченовой. (*Ред.*)

Ему подводили под верхнее веко закрытых глаз иголку и щекотали ею о поверхность глаза — спазматически жмурился, текли слезы, но не просыпался.

На голое тело капали расплавленным сургучом — отдергивал руку, но не просыпался.

Не довольствуясь этим, Муравьев выписал из Кенигсберга тамошнего профессора хирургии Бурова на консультацию с госпитальными докторами. Профессор нашел, что вопрос может быть только решен трепанацией черепа в месте контузии.

Не знаю, почему наш знаменитый государственный муж, удостоившийся даже памятника в Вильне, не решился на эту пробу; не знаю также, какое значение было придано им нашему решению, и послал ли бог смерть больному Малевичу в госпитале или он выздоровел и был повешен по выздоровлении.

В годы 1863—1867 я перевел с своей ученицей учебник физиологии Германа и учебник физиологической химии Кюне, написал в трех выпусках «Физиологию нервной системы» (Петербург, 1866) и сидел то в одиночку, то со своими учениками (Маткевич, Пашутин, Ворошилов, Тарханов, Литвинов и Спиро) исключительно за нервной системой лягушки (единственным исключением была работа Ворошилова над азотным обменом в теле при употреблении в пищу бобовых растений). Лично мне принадлежали за это время: анализ явления Броун-Секара, топография спинномозговых центров передних конечностей лягушки, межцентральные связи между спинномозговыми центрами передних и задних ног, локализация собирательных центров для конечностей лягушки в головном мозгу и отношение их к рефлексам между передними и задними ногами. Опыты эти были в свое время помещаемы в немецких журналах и подробно описаны в моей «Физиологии нервной системы», в главах III и IV. В предисловии к этой книге говорится следующее: «Написать физиологию нервной системы побудило меня главнейшим образом то обстоятельство, что во всех, даже лучших учебниках физиологии, в основу частного описания нервных явлений кладется чисто анатомическое начало..., я же с первого года преподавания нервной системы стал следовать другому пути, именно описывал на лекциях нервные акты так, как они происходят в действительности. Эта попытка удалась, и теперь я представляю попытку на суд публики в форме книги». Думаю и по сие время, что был прав, описывая нервные явления в частности так, как они описывались в этой книге.

Весной 1863 г. я отправился с целым обществом к родным в Симбирскую губернию. Ехали со мной: прелестнейшая старушка-немка Анна Христиановна, тетка мужа моей сестры, выезжавшая во второй раз в своей жизни из Петербурга; порученная ей и только что кончившая курс институтка; только что кончивший курс медик-хирург, вызвавшийся заняться летом деревенской практикой, и большой черный водолаз Дружок, которого я вез в подарок брату Андрею, большому любителю собак.

В Твери мы сели на пароход и проехали по Волге до Васильсурска. Восхищениям Анны Христиановны не было конца, да и я впервые любовался красотами Волги в Костромской губернии. Приехавший со мной и поселившийся у нас в доме молодой хирург, будучи студентом 5-го курса, прославился тем, что успешно вылущил у больного руку с лопаткой. В нашей глухой местности не было поблизости хирурга, и едва он появился и начал практику, как к нему стали стекаться массы народа. Смелости он был непомерной; несмотря на то, что только что сошел со школьной скамейки, брался за все: снял катаракту у одной старой помещицы; вырезал моему брату геморроидальные шишки и сделал ему же операцию фистулы; сделал удачно две литотомии; пережег и перерезал множество опухолей и, ободренный успехами, зарвался до того, что решился на следующий безумный опыт (я узнал об этом лишь после того, как опыт был сделан, иначе, конечно, отговорил бы его). Приехала к нему дьячиха с огромнейшим животом; сделал ли он ей пробный прокол или нет, не знаю, но во всяком случае поступил безумно, впрыснув ей в живот водной настойки, словно имел дело с водянкой яичка. С неделю корчилась бедная дьячиха от мук и уехала с таким же животом, с каким приехала. Жалостлив он тоже не был: у молоденькой гувернантки моей племянницы была бородавка на пальце, и она, конечно, пожелала избавиться от нее; на его предупреждение, что будет больно, она храбро ответила, что стерпит, и действительно вытерпела со слезами на глазах, когда он пропустил под основание бородавки две булавки накрест и перетянул ее под булавками ниткой. Как бы то ни было, но сделал он не мало добра.

Лето 1864 года я жил на даче на берегу Невы и начал писать «Физиологию нервной системы». В свободные минуты стал было заниматься сложными глазами насекомых (на огромных глазах стрекоз), но нового ничего не нашел: видел только, до какой степени ничтожно изменяются сопряженные фокусные длины корниальных фасеток с значительными изменениями отстояний предметов от глаза да еще абсолютную неизменяемость кривизны всей поверхности сложного глаза при электрическом раздражении.

В каникулы следующего года (1865) мы отправились с женой за границу, через Швейцарию в Италию. Выехали в начале нашей весны, когда деревья только зазеленели; Германия была в цвету; на вершине перевала через С.-Готард 16-го мая была снежная метель, а через несколько часов за перевалом зрела уже пшеница, и на Комском озере мы ели восхитительные вишни. Побывали, конечно, и на Lago magiore; а потом из Генуи отправились морем прямо в Неаполь. Помню, что, когда мы стояли в Чивитавеккии, на пароход сели трое туристов-немцев, ехавших из Рима в Неаполь. Один из них, здоровый плотный мужчина с букетом цветов в петлице, очевидно руководитель остальных товарищей, как только вошел на пароход, начал ора-

торствовать с большим одушевлением о чудесах Рима. Но едва пароход вышел из гавани и начало его покачивать, нельзя было не заметить, что, как ни крепился оратор, тон его стал ослабевать и речь вдруг оборвалась — благо он сидел около борта, готового к услугам тех, кто не выносит качки. Моя бедная жена жестоко страдала от морской болезни и почти всю дорогу пролежала в постели. Из прогулок по окрестностям Неаполя особенно памятно мне восхождение на Везувий. Из Портичи мы доехали верхами почти до основания пепельного конуса. Тут привязались к нам с услугами проводники, но М. А. решительно отвергла их помощь. День был солнечный, жаркий, и мы, я помню, отдыхали через каждые пять шагов, увязая ногами в пепле. Она все-таки вынесла эту муку без посторонней помощи, взбираясь, я думаю, целый час. Везувий в это время стрелял ежеминутно, выбрасывая камни и столбы дыма. Мы имели возможность подойти к самому краю старого кратера и видеть образование на его дне нового конуса, из которого и вылетали камни с дымом. Сбежали мы с вершины до подножия конуса минут в 10. Были, конечно, и на Капри в Лазоревом гроте. Из Неаполя переселились на всю остальную часть лета в Сорренто. Жили, конечно, очень тихо, работая — я за нервной физиологией, жена за переводами; катались по морю в лодке, ездили на ослах по окрестностям и только. Во все лето в Сорренто было два шумных праздника: чествование местной Мадонны и национальный праздник освобождения Неаполя от Бурбонов. Чествование Мадонны заключалось в том, что во время церковной службы шла непрерывная стрельба петард; после обедни образ Мадонны вынесли наружу и поместили в стенной нише церкви; засим появился хор музыкантов и начал, стоя перед Мадонной, давать ей серенаду не в виде какой-либо церковной кантаты, а утешать ее веселыми ариями. Другой праздник, или, по крайней мере, часть его, происходил на городской площади, куда были вынесены портреты Виктора Эммануила и Гарибальди. Хор музыкантов заиграл гимн Гарибальди, а публика в сотни голосов стала вторить. По окончании — гром рукоплесканий.

Помню, как теперь, из жизни в Сорренто апельсинный сад вокруг домика (villa Grehan), в котором мы жили, и его террасу, на которой в один прекрасный день появились два очень молодых человека знакомиться с нами. Это были — будущая гордость России Илья Ильич Мечников и Александр Онуфриевич Ковалевский. Помню, что я тогда только что кончил писать иннервацию дыхательных движений и почему-то прочел им этот отрывок. С обоими я потом часто встречался в жизни и буду еще иметь случай говорить о них, а теперь знакомство наше продолжалось лишь несколько дней. На обратном пути в Россию мы побывали в Риме и во Флоренции.

Писательская деятельность и работы по нервной системе потребовали сидения в течение трех лет, притом сидения в лаборатории над погребом (чего я не знал), и настолько расшатали

мое здоровье, что я со свойственной мне мнительностью стал воображать бог знает что и начал приучать себя к мысли, что, вероятно, приходится оставить профессорство, так как занимать место с красным ушами не хотел. Мысленно наметил себе даже преемника в лице одного молодого человека, напечатавшего в это время две очень хорошеньких работы за границей, которого, однако, я лично не знал. Судьба, как нарочно, доставила случай познакомиться с ним при его возвращении на родину через Петербург. Мысль о нем, как преемнике, была оставлена, другого подходящего в то время налицо не было, и я попробовал вылечить себя отдыхом и водами по совету Боткина. Денег от продажи изданий у меня было довольно, и я получил весной 1867 г. годовой отпуск за границу. Начало лета провел в Карлсбаде, поправился благодаря ежедневным длинным прогулкам на воздухе и отправился в Грац к профессорствовавшему там старому другу Роллету. Туда же приехала только что кончившая учение в Цюрихе моя бывшая ученица Суслова, с целью выработать при моем содействии докторскую диссертацию. Тема ей была дана такая, что она могла работать у себя на квартире, и как раз по вопросу для тонких женских рук — над крошечными лимфатическими сердцами лягушки. Получила она очень хорошие результаты, установив несомненным образом ряд аналогий между нервным аппаратом сердец и рефлекторными кожно-мышечными снарядами, именно — возбудимость остановившихся сердец с кожи и диастолическую остановку их при том самом раздражении средних частей головного мозга, которое вызывает угнетение спинномозговых рефлексов. Будучи свидетелем этих опытов, я испробовал влияние этого раздражения на кровяное сердце и получил диастолическую остановку оного. Значит, при раздражении зрительных чертогов получаются одновременно три эффекта: угнетение рефлексов, угнетение деятельности сердца и угнетение деятельности четырех лимфатических сердец. Знаю, что Ад. Фик, тогдашний профессор физиологии в Цюрихе, очень одобрил эту диссертацию. Она была переведена по-русски. В начале 1868 г. приехала навестить меня М. А., а весной отправилась в Цюрих доучиваться медицине.

Я с своей стороны тоже не сидел сложа руки.

Между критиками моей работы с угнетением рефлексов едва ли не самым решительным был ученик Шиффа, Г. Не отрицая верности моих фактов, он, на основании собственных опытов, утверждал, что никаких задерживательных механизмов тут нет, а дело объясняется очень просто тем, что, когда нервной системе причиняется сильное потрясение, она, конечно, перестает реагировать на слабое раздражение кожи — от сильного удара по голове, и животное и человек теряют сознание, чувствительность и подвижность. Принципиально это возражение было неверно: употребленное мною химическое раздражение мозга с поперечных разрезов было не настолько сильно, чтобы производить параличи чувствительности; приложенное к гемисферам, оно не

производило никакого эффекта, а в частях близ продолговатого мозга вызывало признаки боли и бегство животного словно со страха. Но в его опытах с сильным (и очень грубым по способу) раздражением нервных стволов были намеки, что угнетение рефлексов можно вызвать и этим путем. Кстати, систематических опытов с раздражением чувствующих нервов не существовало, и я решил предпринять их. Работа, сделанная и напечатанная в Граце,[1] оказалась крайне благодарной. С чувствующего нерва возбуждались параллельно друг к другу отражательные центры спинного мозга (на обезглавленных лягушках) и локомоторные головного (на животных с удаленными гемисферами). Последние оказались вообще более чувствительными. Отдельные индукционные удары, даже сильные, дают лишь одиночные вздрагивания, а ряды даже слабых — координированные движения; при прочих равных условиях последние наступают тем легче, чем чаще ряд ударов или чем продолжительнее каждый из них; тетанизация нервов вызывает два эффекта — координированные движения и угнетенное состояние нервных центров; при слабой тетанизации преобладает движение, при сильной — угнетение; прекращение тетанизации вызывает мгновенно сильные движения. Химическое раздражение нервов производит в сущности то же, что слабая и сильная тетанизация. Угнетенное состояние нервных центров при химическом раздражении нерва сказывается особенно резко в следующей форме опыта: лягушка с отрезанными гемисферами выносит неподвижно (сидя свободно) химическое раздражение нерва поваренной солью в течение 3—4 мин. В это время угнетение развивается так сильно, что даже сильное щипание лапок не вызывает движений; но как только отстригается раздражаемый конец нерва, животное делает скачок, иногда даже с криком, и чувствительность лапок мгновенно восстановляется.[2]

По возвращении в Россию, в зиму 1868 года, я читал в Художественном клубе публичные лекции, и на одну из них пришел Иван Сергеевич Тургенев. Ему, как почетному гостю, отвели место с боку кафедры. Читал я в этот вечер о пространственном видении, и когда речь дошла до влияния степени сведения глаз на кажущуюся величину предметов — факта, ви-

[1] Ueber d. elektr. u. chem. Reiz. d. sensibl. Rückenmarksnerven d. Frosch. Graz, 1868.

[2] По поводу этого опыта я невольно вспоминаю ближайших друзей Роллета — Томашека, проф. немецкой литературы, и Пёбаля, проф. химии, с которыми я водил компанию и которые заходили иногда в лабораторию. Пёбаль был большой шутник и, будучи раз свидетелем только что описанного опыта, заметил: «Как же после этого не верить детям, когда они утверждают, что воробья можно поймать, посыпав ему на хвост соли». Дело в том, что в этом опыте лягушка сидит с поджатой под себя целой ногой, а вместо другой из ее туловища торчит в виде тонкого хвоста отпрепарированный нерв, конец которого посыпается солью. Этот бедный шутник погиб через несколько лет трагически: его зарезал днем на улице бывший лабораторный служитель, в отместку за то, что Пёбаль уволил его за неисправности и пьянство.

И. М. СЕЧЕНОВ В БЫТНОСТЬ ПРОФЕССОРОМ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (60-е гг.)

димого лишь в стереоскоп при сдвигании и раздвигании стереоскопических рисунков, — Иван Сергеевич был так любезен, что согласился засвидетельствовать перед публикой справедливость факта, посмотрел в зеркальный стереоскоп Уитстона, стоявший на кафедре, и заявил громким голосом, что действительно видел изменение величин образов в сказанном направлении.

Должно быть, к этому же году или к следующему относится моя полемика с Константином Дмитриевичем Кавелиным по поводу его книги «Задачи психологии». «Замечания» на эту книгу я писал, не зная лично Константина Дмитриевича, ни его благородного образа мыслей, ни его заслуг как ученого. Зная все это, я не написал бы своих «Замечаний» и, конечно, ограничился бы позднейшей статьей «Кому и как разрабатывать психологию», потому что в ней косвенно заключались все существенные возражения против основных положений книги, делавшие прямой разбор их излишним. Говорю это потому, что мне было очень неприятно думать о своих «Замечаниях», когда я лично познакомился с Константином Дмитриевичем и нашел в нем человека, относившегося ко мне с первых встреч самым дружелюбным образом. В этом, к счастию единственном, случае моей жизни я отступил от правила, которому следовал Людвиг и которое мне было известно из его слов: «отвечать на нападения не иначе, как делом». В книге Константина Дмитриевича были существенные нападки на мою психологическую веру, и я зарвался в первый и последний раз в жизни.

В эти же годы ко мне вернулась прежняя хворь, общая слабость с головокружениями, не располагавшая ни к деятельности, ни к веселому настроению духа. Академические годы 1868—69 были самыми непроизводительными в моей жизни и, может быть, благодаря этому я относился к положению дел в академии более мрачно (может быть, даже не совсем справедливо), чем бы следовало. Это настроение кончилось в 70-м году выходом из академии, и я считаю небесполезным остановиться несколько на побудительных причинах, приведших меня к такому финалу.

В животноводстве для поддержания расы признается необходимым подновлять время от времени кровь внесением в породу посторонних элементов, иначе «порода родственников из поколения в поколение» вырождается. Нет сомнения, что этот закон приложим и к небольшим группам людей, вынужденных в течение очень долгого времени родниться между собой. В какой мере тот же закон может быть перенесен и в умственную сферу людей, живущих из поколения в поколение одними и теми же интересами и руководящихся установившимися в кружке правилами и вкусами, решать я не берусь, но думаю, что и здесь введение в кружок членов с несколько иными взглядами и вкусами будет скорее полезно, чем вредно, противодействуя образованию в кружке рутины, т. е. его застоя. С этой точки зрения манера, усвоенная германскими университе-

тами, — приглашать в свою среду чужих, если они достойнее собственных учеников, — считается, я думаю, по справедливости правилом, поддерживающим процветание университетов. С этой же точки зрения, учреждение при медицинской академии профессорского пансиона, предшествовавшее нашему поступлению в академию (т. е. Боткина, Беккерса и меня), постоянно казалось мне делом несправедливым относительно русских университетов и могущим послужить во вред даже самой академии. По уставу этого учреждения в нем пребывают постоянно десять избранных учеников академии, кончивших курс, и двое из них ежегодно отправляются за границу для усовершенствования в науках, после двухлетнего усовершенствования в них в пансионе. В каком же университете оставляются на таких правах при одном только медицинском факультете десять человек, и можно ли утверждать, что ежегодно только два воспитанника академии достойны по своим трудам посылки за границу, а на других медицинских факультетах таковых не обретается? Если же принять во внимание, что командировка за границу очень часто — я думаю, более чем наполовину посылаемых — кончается профессурой, то становится понятным, что как только открывается место при академии, ближайшим кандидатом на него является воспитанник пансиона: его знают и начальство и профессора, он свой человек. Воспитанников педагоги ведь часто любят как родных; а воспитанник пансиона, сделавшийся профессором, относится к воспитаннику того же пансиона, кандидату на кафедру, как к однокашнику. Все это в порядке вещей. Но выигрывает ли от этого академия?

В 1870 году в нее поступило из пансиона пять новых профессоров, из которых один был действительно человек очень способный, а остальные четверо — может быть, и знающие свое дело люди — ничем не содействовали украшению академии. Злосчастного университетского устава г. Делянова тогда еще не существовало, и в университетах лекции любимых профессоров все еще продолжали посещаться не одними только слушателями своего факультета, да и товарищеское общение между студентами разных факультетов было еще свободно. Так было в мое студенчество, и я знал не один пример, что в голову студента-медика попадало много доброго с чужих кафедр. Тот, кто умел воспользоваться этим благом университетской жизни, имел, очевидно, шансы выйти из университета более образованным человеком, чем его товарищ, питавшийся пять лет одной медициной. Признаюсь откровенно, воспитанников академии я считал лишенными одного из существующих благ университетской жизни, и тем несправедливее казалась мне та привилегия, которой они пользовались. Свои мысли о профессорском пансионе я не держал в секрете и, конечно, не возбуждал к себе добрых чувств ни в начальстве, ни в бывших воспитанниках пансиона, ни в профессорах, считавших его благом для академии. Они не могли, конечно, нравиться и тем из студентов, которые имели виды на

пансион. От одного из моих учеников, достигшего впоследствии степеней известных, я получил даже сильное ругательное письмо в ответ на мой совет не поступать по окончании курса в пансион, а ехать прямо на отцовский счет за границу. Таким образом я, по своей вине, не принадлежал к числу любимцев в профессорской среде (за исключением, конечно, Боткина и Грубера, с которыми только и виделся) и, разумеется, чувствовал это, но продолжал коснеть. Признаюсь дальше, очень была мне не по вкусу перемена тона в высших слоях академии с тех пор, как не стало истинно доброжелательного к академии Дубовицкого, как ушел заместивший его временно добрый старик Наранович и ушел из академии Н. Н. Зинин.

В таких-то обстоятельствах осенью 70-го года имели быть выборы двух профессоров — на кафедру зоологии, с уходом старика-академика Брандта, и на вновь открывающуюся кафедру гистологии. У меня в предмете имелись два кандидата на обе кафедры. И. И. Мечников, имевший уже в то время большое имя в зоологии, не мог пристроиться к Петербургскому университету за неимением там профессорского места и уехал профессором в Одессу, но продолжал тяготеть к Петербургу и, списавшись со мной, охотно соглашался поступить на место Брандта. Что касается второго кандидата, то прежде всего нужно заметить, что в те отдаленные времена медиков-гистологов в России не было,[1] и таковым я знал одного лишь А. Е. Голубева, работавшего одновременно со мной в лаборатории Роллета, сильно увлекавшегося гистологией (Роллет, как ученик Брюкке, был наполовину гистолог) и сделавшего на моих глазах совершенно самостоятельно очень хорошую работу с влиянием электрического раздражения на стенки волосных сосудов. Кроме того, мне было известно, что Роллет очень ценил его как умелого и строгого (даже чересчур строгого) работника.

Итак, когда наступили выборы, я, по уставу академии, имел право выставить — и выставил — обоих кандидатов. Человека, выставленного против Мечникова, было бы смешно сравнивать с последним по заслугам в науке; и этого противная партия умела, как увидим, избегнуть. Что же касается до выставленного противной стороной гистолога (их товарища по академии), то у него была гистологическая работа более крупная, чем у моего, но вышедшая из лаборатории Людвига в печать под общим именем Людвига и их кандидата, притом по одному из наиболее интересных для Людвига вопросов — о строении почки, так как он много занимался в свою жизнь исследованием отделения мочи. Это и было выставлено мною как аргумент против самостоятельности работы их кандидата. К сожалению, я забыл тогда о письме ко мне Людвига, писавшего в ноябре 1863 г.

[1] Якубович и Овсянников не идут в счет: один был профессором физиологии, а другой — членом Академии наук. Были, может быть, гистологи в Дерпте, но о таковых ничего не было слышно.

где говорилось об этой работе[1], и я мог привести контр-аргумент лишь в общем виде. На это мне заметили не без ехидства, что я, как человек, не занимавшийся гистологией, едва ли могу быть компетентным судьей в гистологических работах и в вопросе, что в данном случае принадлежит тому или другому исследователю. Важно дескать то, что работа подписана именем нашего кандидата, значит он участвовал в работе и в результатах. Таким образом, первый мой кандидат был провален. Перед баллотировкой один из стариков не удержался, чтобы не сказать: «зачем нам нужно чужого, когда свой есть». Когда же очередь дошла до баллотировки Мечникова, один из профессоров встал и сказал следующее: «По научным заслугам Мечников достоин быть не только профессором у нас в академии, но даже членом академии наук. Пригласить его можно только ординарным профессором; но зачем же нам ординарного профессора на второстепенную в академии кафедру, когда предстоит еще замещение таких важных кафедр, как накожные, сифилитические и ушные болезни. На это место нам достаточно экстра-ординарного профессора; поэтому я кладу Мечникову черный шар». Большинство последовало этому вероисповеданию, Мечников был провален, и я в тот же или на другой день подал в отставку из академии. Остаться меня, конечно, не просили. Да это было бы и бесполезно. Вскоре за тем стараниями Мечникова я был выбран в Одесский университет, но выбор не был утверждаем (как сказано было выше) г. Деляновым вплоть до весны следующего года. В эти месяцы я отправился в лабораторию Дм. Ив. Менделеева; он дал мне тему, рассказав, как приготовлять вещество, азотистометиловый эфир, что делать с ним, дал мне комнату, посуду, материалы, и я с великим удовольствием принялся за работу, тем более что не имел до того в руках веществ, кипящих при низких температурах, а это кипело при 12° С. Результаты этой ученической работы описал сам Дм. Ив. Быть учеником такого учителя, как Менделеев, было, конечно, и приятно и полезно, но я уж слишком много вкусил от физиологии, чтобы изменить ей, и химиком не сделался.

Знаю достоверно, что о моем долго не приходившем утверждении в Одессу хлопотала, без моего ведома, графиня Шувалова, первая жена бывшего впоследствии посланника в Берлине. С. П. Боткин лечил эту семью и находился с нею в дружеских отношениях. Через него графиня (лично я ее не знал, но много

[1] Теперь, перебирая старую переписку, я нашел это письмо Людвига и выписываю из него дословно все, касающееся этого вопроса: «Mit der Nierenanatomie bin ich, nur soweit es das Schwein betrifft, im Reinen und ich werde Ihnen, wenn die Abhandlung gedruckt ist, Nachricht geben. Wenn ich wüsste wo Z (их кандидат) steckte, von dem ich seit seiner Abreise nichts weiter gehört habe. *so würde ich ihm wissen lassen inwiefern das, was unter seinem und meinem Namen gedruckt wird, von dem abweicht, was wir schon gemeinsam herausgebracht*». Подчеркнуты строки мною. Оригинал письма будет храниться в моих бумагах.

слышал о ее высоких душевных качествах) узнала о моем деле и сильно атаковала Ивана Давыдовича, но тот не сдался. Все это я узнал от С. П. уже после неудавшейся атаки. Несколько позже мне представился случай заручиться еще более сильным голосом в мою пользу, но этим я не хотел воспользоваться. У меня в академической лаборатории, в последний год пребывания в ней, работал очень милый и очень бедный студент Дроздов, сын сельского священника в захолустьи Вологодской губернии.[1] Очень сокрушала этого Дроздова судьба его подраставшей единственной сестренки, девочки, по его словам, очень умной и способной, но лишенной в глуши всяких средств к образованию. Думали мы с ним, гадали, как пособить горю, и нашли наконец средство. Я попросил похлопотать об этом товарища по академии, профессора Эйхвальда; дело сладилось, и девочка была принята в институт, когда я уже вышел из академии. Эйхвальд хлопотал от моего имени, и мне пришлось таким образом благодарить высокую особу за оказанное милостивое внимание к моей просьбе. Пошел я с единственной мыслью — благодарить, и первыми моими словами было, конечно, изъявление благодарности, но затем меня спросили о немецких профессорах, у которых я учился, специально о Брюкке; заметили мимоходом, что я напрасно напечатал «Рефлексы головного мозга», на что я ответил (разговор происходил на немецком языке): «man muss doch die Courage haben seine Ueberzeugungen auszudrücken». А в заключение я был спрошен, знаю ли лично г. Делянова и в каком положении находится вопрос о моем переселении в Одессу. Высокие лица, конечно, привыкли к тому, что к ним приходят очень часто с просьбами, если не в кармане, то на душе, и этот вопрос был, вероятно, сделан с доброжелательною целью — облегчить выход затаенной в душе просьбе наружу. Но мне и в голову не приходило просить о получении места, и на этот вопрос я ответил: «ich gedenke mich in diese Angelegenheit ganz neutral zu verhalten». Тем свидание и кончилось. Выше было уже сказано, что мое утверждение в конце концов состоялось и каким именно образом.

О жизни в Одессе, этом милом полуевропейском городе, у меня сохранились по сие время самые приятные воспоминания.

---

[1] Он сделал очень интересное наблюдение — исчезание из крови лягушки белых кровяных шариков при отравлении кураре.

ПРОФЕССОРСТВО В ОДЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1870 — 1876)

Переселившись в Одессу, я решил заниматься абсорпциометрически вопросом о состоянии CO_2 в крови; поэтому первым долгом пришлось устраивать абсорпциометр, по известному уже из прежнего описания плану, и ряд неизбежных для таких опытов придаточных снарядов из стекла. По счастью, при университете был механик, сумевший приготовить, по моим указаниям, металлические части снаряда; а стекло пришлось оборудовать самому, так как дульщика стекла в Одессе не было, я же немного мараковал в этом искусстве [1] и умел делать трубки. Помещение под лабораторию я получил очень хорошее, но нисколько не приспособленное к работе; поэтому пришлось не мало похлопотать и в этом направлении. При этом не могу не вспомнить с благодарностью о дружеской любезности профессора химии А. А. Вериго, оказавшего мне не мало услуг по мелочному устройству лаборатории. Всеми новыми товарищами я был принят очень радушно; но в это время единственно близкого мне И. И. Мечникова не было — он был в годовом отпуску, а два другие выдающиеся ученые, служившие украшением естественного факультета, химик Н. Н. Соколов и ботаник Ценковский, покидали университет, и сблизиться с ними я не мог. Поэтому в первый год пребывания в Одессе мою компанию составляли: А. А. Вериго, очень оригинальный и милый консерватор зоологического музея Видгальм и мой ассистент П. А. Спиро, переехавший со мной из медицинской академии в Одессу — там был учеником, а здесь стал ассистентом. В медицинской академии все мои ученики работали обыкновенно в одной комнате со мной и за работой все, кто из нас умел петь, часто певали хором, благо лаборатория наша стояла особняком и нашим пением не нарушалось благочиние учебного заведения. Между нами, певцами, Спиро всегда признавался наиболее искусным; но его певческие таланты обнаружились лишь в Одессе, когда он полу-

[1] Уже будучи профессором в медицинской академии, в одну из поездок в Берлин я брал уроки дутья у тамошнего дульщика Гейсслера, преисполнившегося важности преподаваемого предмета и бравшего с меня по этой причине фридрихсдор за урок (больше 5 руб.). Дорого заплатил за учение, но зато получил возможность работать в Одессе.

чил казенную квартиру — комнату чуть не в танцовальную залу величиной, с превосходным резонансом — и обзавелся инструментом. Не пройдя никакой школы, он пел, однако, так, что умел вызывать слезы (я был свидетелем этого); пел с итальянским пошибом и превосходно передразнивал Тамберлика. Не попал он, бедный, на свою настоящую дорогу, а теперь сворачивать на нее было уже поздно — слишком долго он пренебрегал данным ему от бога талантом.

Поздней весной 1871 г. жена защищала в Цюрихе докторскую диссертацию, и я поехал в Швейцарию праздновать окончание ею курса. Желая на радостях доставить удовольствие своей подруге по университету, тогда еще студентке, мисс Иокер, она пригласила ее прокатиться по Швейцарии, и мы втроем отправились через Рагац (где, конечно, не преминули полюбоваться диким ущельем Тамины (Taminaschlucht по via mala. С вершины перевала Иокер отправилась обратно, а мы поехали в Италию, сели в Генуе на сквернепький маленький пароход, с громким именем Risorgimento, ходивший между этим городом и Специей почти без балласта, и докачались-таки при спокойном море в 8 часов до Специи, а отсюда на лодке в деревушку San Terenzo на берегу моря. Поселились там как раз подле того исторического дома, где жили Байрон и Шелли, утонувший в заливе San Terenzo. Железной дороги по берегу моря между Генуей и Специей еще не было, иначе мы побывали бы в тех восхитительных местах, которые составляют теперь так называемую итальянскую Ривьеру и где мы были с женой весной 1903 года. Но, как сказано, итальянская Ривьера тогда не существовала; приехали мы в простенькое, дешевое S Terenzo насладиться морем; оно было у наших ног, и мы им действительно наслаждались, пробыв там месяца полтора. Жили, конечно, очень тихо, занимаясь переводами; купались и гуляли по окрестностям. На возвратном пути были во Флоренции, Венеции и Вене. В последнем городе расстались: жена поехала в Петербург держать экзамены на право практики (право это она получила в декабре 1871 г.), а я — в Одессу. На Рождестве этого года я побывал в Петербурге. Здесь мы познакомились с офтальмологом Ивановым, профессором Киевского университета, который предложил М. А. ассистентство в его клинике. Она, однако, имела в виду ехать в Вену доучиваться и уехала в январе 1872 года.

Как прошла для меня зима 1881 г., было уже сказано. В следующем году начал формироваться тот настоящий дружеский кружок, из-за которого я люблю Одессу и по сие время. Вернулся из-за границы И. И. Мечников. Приехал из Москвы на кафедру математической физики совсем еще молодой человек, Н. А. Умов, произведший большое впечатление своей вступительной лекцией. Поступил на кафедру римского права другой москвич, Дювернуа, и прочел очаровательную вступительную лекцию. А еще через год привез в Одессу Н. А. Умов свою

молоденькую жену, мою будущую милую, дорогую куму; и кружок был в комплекте — составил ядро, к которому примкнул позднее Кондаков с женой. Елена Леонардовна Умова имела тогда вид молоденькой девушки, с двумя самыми привлекательными чертами неиспорченной юности — искренностью и порывистостью. В новом для нее положении она то плакала по покинутой Москве, то сияла и радовалась настоящему. Да и в мужья ей дал бог доброго, деликатного и любящего человека, умевшего утешать свою Леночку в ее наивных горестях. Для дружеского кружка трудящихся семейный дом столько же необходим, как теплый уютный угол для усталого. Только в семейном доме, с приветливой улыбкой и ласковым словом хозяйки, собрание приятелей отдыхает душевно и принимает тот характер порядочности и сердечности, который немцы выражают словом Gemüthlichkeit. Таким соединительным звеном-салоном кружка стала квартира Умовых. Хозяин, кроме утонченной любезности, оказался завзятым хлебосолом; хозяйка представляла элемент сердечности; я имел значение еще не совсем состарившегося дядюшки, а душою кружка был И. И. Мечников. Из всех молодых людей, которых я знавал, более увлекательного, чем молодой И. И., по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию я не встречал в жизни. Насколько он был серьезен и продуктивен в науке — уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя,— настолько же жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе. Одною из утех для кружка была его способность ловко подмечать комическую сторону в текущих событиях и смешные черты в характере лиц, с удивительным умением подражать их голосу, движениям и манере говорить. Кто из нас, одесситов того времени, может забыть, напр., нарисованный им образ хромого астронома, как он в халате и ночном колпаке глядит через открытое окно своей спальни на звездное небо, делая таким образом астрономические наблюдения; или ботаника с павлиньим голосом, выкрикивающего с одушевлением и гордостью длинный ряд иностранных названий растительных пигментов; или, наконец, пищание одного маленького забитого субинспектора, который при всяком новом знакомстве рекомендовал себя племянником генерал-фельдцейхмейстера австрийской службы. Все это Мечников делал без малейшей злобы, не будучи нисколько насмешником. Да и сердце у него стояло в отношении близких на уровне его талантов — без всяких побочных средств, с одним профессорским жалованьем, он отвез свою первую больную жену на Мадеру, думая спасти ее, а сам в это время отказывал себе во многом и ни разу не проронил об этом ни слова. Был большой любитель музыки и умел напевать множество классических вещей; любил театр, но не любил ходить на трагедии, потому что неудержимо плакал.

С Алекс. Онуфр. Ковалевским, нашим знаменитым зоологом, до его приезда из Киева в Одессу, я встречался мельком два

раза: в Сорренто (было уже сказано выше) и в Петербурге, в моей лаборатории медицинской академии. Сюда он пришел за решением двух вопросов: как реагируют нервы рака на возбуждение в электродвигательном отношении и проводит ли нервная цепочка рака возбуждение по длине. С этой целью ему был предоставлен гальванометр, и он в течение двух-трех сеансов мог убедиться из собственных опытов, что в первом случае разницы между рачьими и лягушечьими нервами нет и что перерыв цепочки узлами не препятствует распространению по ее длине эффекта тетанизации, т. е. отрицательного колебания тока. В Одессу он приехал, кажется, за год до моего возвращения оттуда в Петербург. Впоследствии он сделался членом нашего кружка, но в первый год, будучи семейным человеком и немного брюком, не сразу сошелся с нашей компанией; поэтому я не успел узнать его как члена оной, но успел узнать и оценить как профессора. Очень оригинально было его вступление. В первые годы моего пребывания на месте профессора богословия при университете доживал свой век очень умный и заслуженный протоиерей, не вмешивавшийся в университетские дела. Свой пост он оставил по преклонности лет, а на его место поступил молодой священник, понявший свое назначение, должно быть, так, что ему надлежит следить за преподаванием наук в университете, насколько оно соответствует православию. С такими мыслями в голове он, конечно, не преминул посетить вступительную лекцию нового профессора, А. О. Ковалевского, для ознакомления с его образом мыслей. К вящшему его смущению новый профессор оказался на лекции еретиком — завзятым дарвинистом. Батюшка наш встал на дыбы и, по словам профессора Богдановского, замышлял послать министру громовое донесение на лектора и его учение; насилу его убедили, что дарвиновской ересью настолько заражены все зоологи, что найти свободного от оной невозможно. Известно, что А. О., как работник-исследователь, обладал необычайной энергией, таков же был он, вероятно, и как учитель, судя по тому, чему я был свидетелем.

В Одесском университете кафедры гистологии не было, а А. О., будучи специалистом по истории развития, был по необходимости гистологом. Что же он делает? По собственному почину, без всякого обязательства преподавать гистологию, он засаживает своих слушателей за микроскопы и начинает обучать их микроскопии. Насколько серьезно он относился к этому делу, я испытал, так сказать, на собственной шкуре. Комната, где он давал курс гистологии, находилась как раз над моей лабораторией, и я по какому-то пустячному делу пошел к нему наверх. Прихожу. За столами с микроскопами сидят студенты, а он молча, с серьезным лицом ходит по комнате; подхожу к нему развязно, по-приятельски; но не успел выговорить и слова, как он извинился самым серьезным образом, что, к сожалению, занят и вступать в разговоры не может. Нужно заметить, что он

не считал меня пустым, нестоящим внимания человеком и был расположен ко мне самым дружеским образом.

Профессор Дювернуа мне очень нравился, как умный, крайне благовоспитанный и хороший, честный человек; бывал у нас частым гостем, не будучи завсегдатаем кружка. Нельзя не помянуть добрым словом еще троих профессоров: Головкинского, известного геолога, и двух очень ученых чудаков — слависта Григоровича и археолога. Эти двое были не от мира сего, особенно Григорович, считавший едва ли не самым главным делом своей жизни то, что ему удалось украсть в одном из афонских монастырей какую-то очень важную рукопись и обнародовать ее. В Одессе же он прославился тем, что сумел отрекомендовать на открывшуюся кафедру своего действительно достойного кандидата таким образом, что на нее попал не его кандидат, а другой, однофамилец последнего.

Кружок наш составлял партию в университете лишь в следующем отношении: мы не искали ни деканства, ни ректорства, не старались пристроить к университету своих родственников и не ходили ни с жалобами, ни с просьбами о покровительстве к попечителю, чем занимались довольно многие в университете. Увы! был в профессорской среде даже такой господин, который сделал донос местному цензору (надворному советнику, фамилии которого не помню) на своего товарища, редактора университетских записок, будто тот фальсифицирует протоколы заседаний. Я был в заседании совета, когда обвиненный в фальсификации профессор канонического права Павлов публично, громким голосом, в присутствии доносчика произнес: «На меня г... донес г. цензору (имя рек), будто я фальсифицирую протоколы заседаний; поэтому прошу нарядить следствие...» Доносчик не пикнул. Он, кажется, пребывает и по сие время в почете.

Жили мы тихо, — утро за делом в лаборатории, а вечером большей частью в нашем салоне, за дружеской беседой и нередко за картами. Грешный человек, карточную игру, но безденежную, ввел я и, как любитель оной, яростно нападал на нашу милую хозяйку, когда она делала ошибки.[1] Помимо этих вспышек, вел я себя смирно: не совратил с пути за два года ни единого студента, не вызвал ни единого бунта, не строил баррикад и привел всем этим взявшего меня на поруки попечителя в такой восторг, что в Святую 1873 г. он сделал меня действительным статским советником и даже самолично приехал ко мне на квартиру поздравить с этой радостью. Из дальнейшего будет видно, что он продолжал свидетельствовать перед высшим начальством о моей благонадежности и в последующие годы.

---

[1] У Мечникова была наследственная страсть к картам, но он боялся играть даже без денег; садился возле нас, когда мы играли, и даже в качестве зрителя волновался и краснел, следя за перепетиями нашей борьбы.

Весной 72-го года я отправился в Вену, где жена кончила свое учение. Имелось в виду съездить в Париж и Лондон. Но прежде всего нужно было отдохнуть в каком-нибудь тихом уголке от экзаменных треволнений в Петербурге и ежедневной беготни по клиникам в Вене. Таким уголком мы выбрали тихий и красивый Гмунден, где и поселились в меблированных комнатах на берегу озера. Отдыхали дней пять, не ожидая никакой напасти, а она стояла у дверей. Менее чем через неделю М. А. стала сильно лихорадить, на лице показалась сыпь, и она вспомнила, что накануне выезда из Вены ей пришлось выслушивать в детской больнице двух детей — одного в оспе, другого в кори. Сначала определила у себя корь, но потом стала сомневаться, и мы были вынуждены пригласить туземного доктора. Этот определил оспу и сказал, что больную необходимо отправить в больницу при общине сестер милосердия, которая обязана принимать в больницу заразных больных. Легко представить себе, с каким чувством я пошел к начальнице общины заявить о случившемся. Она, видимо, испугалась, но, конечно, ответила, что больная будет принята, только не сегодня, потому что нужно приготовить помещение, а завтра, и что больной будут присланы носилки. Остальная часть этого памятного дня и ночь были самыми скверными часами в моей жизни. К утру я задремал и вдруг слышу веселый голос из соседней комнаты: «а ведь у меня не оспа, а корь». Вскакиваю. Больная сидит в постели с зеркалом в руках и смеется... Ранним утром тот же доктор, согласно данному обещанию, пришел к нам и в свою очередь убедился, что это корь. Носилки и переселение в больницу были, конечно, отменены, и за большим горем последовали счастливые дни. Из-за этого пришлось, однако, прожить в Гмундене недели две лишних. В Париже мы пробыли, должно быть, с месяц. Перебывали во всех музеях, парках и садах, были в С.-Клу и Версале, видели в Comédie Française восхитительного актера Ф. (в пьесе «Le gendgre de M. Poirrier»), слышали прелестного тенора в Opéra comique, побывали в Палерояльском театре, избегали множество улиц в день национального праздника (14 июля), любуясь веселыми танцами парижан на открытом воздухе, — словом, прожили в Париже приятнейшим образом, несмотря на нестерпимую жару того лета. В конце июля переехали в Лондон. Здесь М. А., помимо посещения достопримечательностей, стала ходить в глазные больницы, а я, за краткостью времени (мог остаться только недели три) и по неумению говорить по-английски, не мог извлечь пользы из пребывания в Англии и в половине августа отправился прямо в Одессу. М. А. осталась еще на несколько времени в Лондоне, где в это время был и наш приятель Влад. Ковалевский. На возвратном пути через Утрехт и Вену она приехала в Одессу, а оттуда в Киев, в клинику проф. Иванова. Рождество мы прожили вместе в Одессе, а лето 1873 г. — в Тверской губернии, в деревне матери М. А.

Зиму 73-го и начало 74-го года я был по уши в работе. Лето мы провели в Крыму.

Зимой 1875 г. прибыла в Одессу компания трех действительных статских советников, с тайным советником во главе, объезжавшая все российские университеты с оригинальной миссией — спросить всех русских профессоров, и именно каждого в отдельности, что они думают об имевшемся в виду, и конечно уже заранее решенном, введении у нас, по примеру Германии, государственных экзаменов. Зачем понадобилось утруждать сановников и не поступить проще — разослать тот же вопрос циркулярно по всем университетам для обсуждения его в факультетах и советах? Ведь отзывы коллегий были бы во всяком случае более ценны, чем ответы отдельных лиц в разговорах, длившихся для каждого не часы, а минуты (разговор со мной, напр., длился не более двух минут). Это был первый акт недоверия к университетским коллегиям, а может быть и опасение, что они найдут эту меру для России неудобной (что и оказалось на деле), и отзыв их спрятать под сукно будет менее удобно, чем изустные ответы, записываемые самой комиссией бесконтрольно. Может быть, даже комиссии надлежало познакомиться попутно с образом мыслей профессоров не только по этому вопросу, но и по университетским делам вообще. В то время как я пришел в назначенный час в квартиру тайного советника, исповедь моего предшественника К. (Мечников очень удачно сравнивал его с гнилым орехом — с виду ничего, а внутри негодная труха) еще не кончилась, и до моего слуха (я сидел в соседней комнате) долетали взрывы веселого смеха. Едва ли дело шло только о двух главных вопросах — нужны ли государственные экзамены и как их устроить. Интересно было бы знать, во что обошлась эта оригинальная прогулка особ, если, паче чаяния, каждый из них получал по чину прогоны на 12 лошадей, проехал около 3000 верст и находился в путешествии около двух месяцев, получая суточные, конечно, рублей по десять. Но это была только прелюдия к тому грандиозному фарсу, который не сходит со сцены русской жизни лет двадцать под именем государственных экзаменов и оплачивается для шести только университетов (не считая Варшавского, Дерптского, медицинской академии и двух технологических институтов) следующим образом: ежегодно в двадцать два факультета посылаются двадцать два председателя экзаменационной комиссии с вознаграждением в 1000 руб. каждому; половина этой суммы идет, вероятно, на вознаграждение его помощника и экзаминаторов, да львиная доля в пользу верховного председателя всех комиссий (каковым был г. Г., прославившийся любовью к сыну). Таким образом, эта комедия обошлась казне за двадцать лет более чем в 600 000 руб., а между тем это комедия не в фигуральном, а истинном смысле слова. Выпускных экзаменуют попрежнему их учителя, руко-

водствуясь, конечно, не казенными экзаменационными программами, а тем, что читали сами; да и со стороны снисходительности к познаниям будущих чиновников существенной перемены не произошло — кто был строг на прежних не-государственных экзаменах, тот остается таким же и теперь, и наоборот.

В то самое время, как нас исповедывала комиссия г. Делянова, Одессу посетил сам министр, граф Дмитрий Андреевич Толстой, объезжавший учебные заведения южной России. В Одессу он приехал из Феодосии. Желая побеседовать с профессорами об университетских делах, он приглашал нас к себе на квартиру пофакультетно — сначала филологов, потом юристов и в последнюю очередь нас, естественников. При этом приеме присутствовал, конечно, попечитель, представляя министру каждого из нас поименно. Когда очередь дошла до меня, он очень любезно сказал следующее: «В Феодосии я имел удовольствие познакомиться с вашей племянницей, она при мне превосходно отвечала из истории». Столь же любезно он выслушал мое заявление, что напрасно из биологического отделения факультета изгнана математика; а слова Мечникова, что в Германии систематикой растений и животных занимаются гимназисты, а у нас приходится учиться этому студентам, он выслушал рассеянно, чуть не зевая. Вот что сделали ежегодные благоприятные донесения о моем поведении попечителя, близкого ему человека! Но это не все.

Незадолго до того с естественного факультета Петербургского университета ушел г. Цион, бывший там экстра-ординарным, и университет, желая получить меня на его место без разжалования в экстра-ординарные, справлялся в министерстве, возможно ли это. Министр, будучи в Одессе, очевидно знал об этом. Перед его приездом одесская дума, хлопотавшая получить политехнический институт, давала в честь министра обед, на который были приглашены и все профессора университета. Прощаясь с нами после этого обеда, министр спросил меня, желаю ли я быть переведен в Петербург, и, получив в ответ согласие и благодарность, перевел меня весной следующего года. По поводу моего двойного переселения — из медицинской академии в Одессу, а из Одессы в Петербургский университет — кто-то не без остроумия заметил: «Сеченов употребил пять лет на переход с Выборгской стороны на Васильевский остров».

Описав таким образом внелабораторную жизнь в Одессе, перехожу к описанию того, что делалось мною в лаборатории.

Почти пять лет я занимался здесь вопросом о состоянии CO_2 в крови, и этот, с виду простенький, вопрос потребовал для своего решения не только опытов со всеми главными составными частями крови порознь и в различных сочетаниях

друг с другом, но еще в большей мере опытов с длинным рядом соляных растворов.

Опыты эти я описывать, конечно, не буду и остановлюсь лишь на смысле предпринятой мною задачи и средствах к ее выполнению.

Процесс, называемый в физиологии дыхательным обменом угольной кислоты, заключается в том, что кровь, протекая по тканям тела, берет развивающуюся в них угольную кислоту и, протекая по легкому, отдает ее в воздушную полость последнего. Если вообразить себе на минуту, что по нашим жилам течет вместо крови вода, то при способности последней растворять угольную кислоту и отдавать ее путем диффузии в атмосферный воздух она могла бы, повидимому, заменить кровь с успехом. Если вообразить себе далее кровь замененной слабым раствором углекислого натра, не вполне насыщенного угольной кислотой до образования бикарбоната, то и эта жидкость могла бы, повидимому, действовать успешно — черпать CO_2 в тканях до насыщения и отдавать зачерпнутый избыток в легком, так как бикарбонат на воздухе теряет CO_2. Соответственно последнему, в крови, при щелочной реакции ее жидкой части, было доказано присутствие Na_2CO_2, не совершенно превращенного в бикарбонат, и таким образом деятельность крови в деле освобождения тела от угольной кислоты сводилась в сущности на присутствие в ней углекислой соли. Кроме того, было найдено, что некоторая часть CO_2 содержится и в красных шариках, но в каком состоянии, не известно. Наконец, было доказано опытами, что в жидкой части крови нет веществ, способных разлагать в пустоте углекислые щелочи.

Таким образом очевидно, что важный вопрос об освобождении тела от CO_2 дыханием (в сутки человек выдыхает около двух фунтов CO_2) стоит в прямой связи с вопросом о состоянии CO_2 в крови.

Состояние газа, поглощенного жидкостями, можно вообще изучать двояким образом: наблюдая различные условия выделения его из жидкости или, наоборот, изучая условия его поглощения жидкостями, и второй несомненно более плодотворный, чем первый, потому что в его прямых показаниях заключаются и показания обратные — в условиях поглощения газа и условия для его выхождения. Оба эти способа были пущены в ход моими предшественниками, дали много ценных отдельных результатов, но по основному вопросу не пошли далее того, что было сказано выше.

Приняв на себя задачу изучать состояние CO_2 в жидкой части крови и в кровянных шариках, я пошел вторым путем, с каковой целью мне пришлось устроить при скудных условиях мастерских Одесского университета абсорпциометр.

Кто знает, как трудно налаживается новое дело, требующее многих приспособлений, тот поймет, сколько времени и труда

было потрачено на одни приготовления; а затем предстояло работать с такой сложной жидкостью, как кровь. С первых же шагов оказалось, что хотя Na_2CO_3 и играет существенную роль в поглощении CO_2 жидкой частью крови, но поглощает ее в крови иначе, чем в чистом водном растворе. Это обстоятельство вынудило меня познакомиться вообще с характером поглощения CO_2 растворами солей, образованных слабыми кислотами. Вступив в эту область, никем еще не изведанную абсорпциометрически, я не мог не увлечься сравнительной легкостью получения верных результатов, и таким образом работа моя распалась на две части — с кровью и растворами солей. Дело через это сильно затянулось, но раскаиваться повода не было, потому что опыты с солями дали сами по себе ценные результаты и во всяком случае помогли разобраться в явлениях, представляемых кровью.

Опыты начались с жидкой части крови (с сыворотки), и прежде всего пришлось убедиться анализами на ее щелочность и прямыми опытами, насколько абсорпциометрические свойства этой жидкости постоянны и долго ли они сохраняются. Затем пошла длинная история установки общего характера поглощения CO_2 этой жидкостью, и когда все это было проделано, получился результат, заставивший меня отклониться в сторону солей. Благодаря этому отклонению было найдено верное средство определять величины химического поглощения на сыворотке и получилась возможность установить общий характер химического поглощения CO_2 сывороткой, как случай химического соединения этого газа с щелочью более слабою, чем соединение CO_2 с Na_2CO_3 в водных растворах последнего. Значение этого факта можно выразить так:

жидкая часть крови устроена, в деле выполнения своей дыхательной функции, лучше, чем вода, и лучше, чем водный раствор углекислой щелочи, — она черпает O_2 в тканях сильнее воды и отдает ее в полость легкого легче, чем бикарбонат.

Такая находка могла быть объяснена только тем, что щелочь в жидкой части крови не свободна и соединена с телом кислотного характера, ограничивающим соединение щелочи с угольной кислотой по величине и придающим этому соединению наблюдавшуюся степень подвижности. Соответственно этому, дальнейшие опыты были направлены к отысканию такого тела в сыворотке, но получить его в отдельности не удалось. Единственный намек на то, что этим телом могут быть глобулины, дал опыт подсаливания сыворотки $MgSO_4$ — остающаяся по выпадении глобулинов жидкость являет лишь крайне слабые признаки слабого химического поглощения CO_2.

Опыты с растворами красных кровяных шариков вышли сверх ожидания, гораздо проще, благодаря тому, что у меня

была под рукой лошадиная кровь. Дело в том, что из нее удается получить путем лишь повторительного замораживания и отстаивания (жидкости из размятого кровяного сгустка) массу кристаллов гемоглобина, оседающего из жидкости (при стоянии во льду) в виде густой каши, через что получается возможность сравнивать между собой абсорпциометрически цельный раствор шариков, жидкость, остающуюся по выпадении гемоглобина, и самый гемоглобин. Результат получился настолько неожиданный, что Гоппе-Зейлер усомнился в верности моих опытов (это я узнал от д-ра Дроздова, которому Гоппе-Зейлер выразил свои сомнения), опираясь на то, что по его собственным опытам CO_2 не изменяет спектра гемоглобина. Тем не менее ошибки в моих опытах не было да и быть не могло в виду того обстоятельства, что абсорпциометрический характер химического поглощения CO_2 гемоглобином выступал при громадной величине поглощения с величайшей ясностью. Рядом с этим опыты показали, что соединение гемоглобина с CO_2 принадлежит к разряду слабых, т. е. зависящих по величине от давления. При температуре 37° С зависимость эта доходит до того, что поглощение происходит почти по закону Дальтона. При этом важно заметить, что химическая связь между гемоглобином и CO_2 вообще гораздо слабее его связи с O_2, особенно же при температуре животного тела, следовательно вытеснение CO_2 из гемоглобина кислородом при дыхании происходит с большой легкостью. С другой стороны, громадность поглощения CO_2 густыми растворами кровяных шариков объясняет до известной степени выгоду устройства крови из щелочной жидкости и плавающих в ней мельчайших пылинок с густым содержанием гемоглобина. Благодаря тому, что главная масса вдыхаемого O_2 может соединяться с гемоглобином, шарики давно считаются передатчиками O_2 от внешней атмосферы к тканям, но те же шарики, благодаря их сильной поглощательной способности относительно CO_2, можно считать передатчиками CO_2 от тканей во внешнюю воздушную среду животного. Дыхательный обмен между кровью и тканями происходит, вероятно, следующим образом: кровяные шарики, теряя здесь O_2, делаются через это более способными притягивать CO_2, наибольшая масса этого газа поступает из тканей, конечно, в жидкую часть крови, но поелику соединение ее с последней тоже принадлежит к разряду слабо химических, следовательно часть зачерпнутой ею угольной кислоты не может не переноситься на кровяные шарики,— и не только часть растворенного, но и химически связанного газа. Переход этот должен совершаться во время протекания крови по венам, и тут мелкая раздробленность кровяных шариков, как громадное увеличение поверхности их соприкосновения с жидкостью, представляет для такого перехода очень выгодное условие. Такое участие кровяных шариков в деле выведения из тела CO_2 имеет, вероятно, тем большее жизненное значение, чем больше развивается CO_2 в тканях или чем больше поступает ее в тело с вдыхаемым воз-

духом, потому что поглощательная способность на CO_2 возрастает в шариках с увеличением давления несравненно быстрее, чем в жидкой части крови.

Одесскую работу с солями будет удобнее описать в связи с ее продолжением и концом в лаборатории Петербургского университета.

Из Одессы в Петербург я переехал в начале мая 1876 г. и пробыл в Петербургском университете двенадцать лет.

. . . . . .

(С тех пор, как были написаны эти строки, прошло почти два месяца — сначала болезнь, потом война с Японией. Беда быть уже ни на что негодным стариком в такое тяжелое время — мучаешься тревожными ожиданиями, и опускаются бесполезные руки. Попробую опять бежать от настоящего в прошлое.)

ПРОФЕССОРСТВО В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

(1876—1888)

Приезд из Одессы в Петербург памятен мне тем, что на другой день по приезде был тот единственный майский мороз в 6° по всей России, до Кавказа и Крыма включительно, которым задержалась древесная растительность чуть ли не до половины лета. Приехал я с юга, конечно, в летнем платье, остановился у зятя Михайловского и, имея на другой день представиться министру, принужден был ехать туда в енотовой шубе зятя. Университетское начальство приняло меня любезно и дало отпуск на каникулярное время. Лето я прожил в имении жены, и с этих пор наша семейная жизнь стала, наконец, оседлой, без временных разлук и переездов с места на место. Поселились мы на Васильевском острове, этой милой университетской части города, благо все наши родные и друзья (между ними и Софья Васильевна Ковалевская с мужем) жили там же.

К Петербургскому университету того времени и к его физико-математическому факультету в особенности я преисполнен по сие время великого уважения. Не говоря о том, что сидеть рядом с такими людьми, как Чебышев, Менделеев и Бутлеров, было для меня большой честью, — университетская коллегия того времени представляла поразительный пример дружного единодушия по всем насущным вопросам университетской жизни. Посещая аккуратно заседания факультета и совета, я за все одиннадцать лет не был свидетелем ни там, ни здесь ни единого враждебного столкновения, ни единого грубого слова. А между тем университет переживал тогда очень трудные времена, и ему приходилось заниматься иногда очень щекотливыми вопросами. Известно, что в 70-х годах прошлого века правительственная реакция против анархистского террора достигла апогея и выразилась между прочим целым рядом административно-полицейских воздействий на быт студентов. Дошло до того, что студентов, замешанных в университетских беспорядках, лишали, по окончании курса, прав поступать на государственную службу, т. е. лишали прав за дисциплинарные проступки. Несчастного устава г. Делянова, отделившего студентов от профессоров пропастью, тогда еще не существовало, и петербургская профессорская коллегия не сочла себя в праве молчать. По предложению некоторых профессоров была образована комиссия для рассмотрения дела и составления защитительной докладной за-

писки министру, что и было сделано. В совете нашлось только два человека, не подписавших этой записки, — С. и В. (последний, вероятно, за этот подвиг был сделан потом ректором). Кончилось, конечно, ничем — министр ответил выговором коллегии и замечанием, что забота о судьбе студентов предоставлена начальству, а не профессорам.

Другой повод вспоминать этот период петербургской жизни с любовью и уважением — это Бестужевские женские курсы, где я был преподавателем в течение нескольких лет и мог убедиться на деле в серьезном значении этого истинно благородного учреждения. Это был женский университет о двух факультетах, в настоящем смысле слова возникший из частной инициативы и поддерживавшийся почти исключительно своими средствами. Это было в то же время крайне оригинальное учебное заведение, в котором начальница — хорошая, добрая, честная Надежда Васильевна Стасова — и ее помощницы работали даром, вкладывая в дело не только всю свою душу, но и собственные карманы, и поддерживали дисциплину в заведении не строгостями и наказаниями, а любовным отношением к воспитанницам, уговором и лаской. Что это был университет, доказательством служит систематичность 4-летнего курса, читавшегося профессорами, доцентами университета и даже некоторыми академиками. Я читал на курсах то же самое и в таком же объеме, что в университете, и, экзаменуя ежегодно и там и здесь из прочитанного, находил в результате, что один год экзаменуются лучше студенты, а другой — студентки. Помню даже, что за все мое более чем сорокалетнее профессорство самый лучший экзамен держала у меня студентка, а не студент, — дочь от первого брака знаменитого немецкого раскопщика греческих древностей. Да, это была заря высшего женского образования в России, и студентки учились прямо-таки с увлечением, — я не раз был свидетелем, как они занимались в стенах своего университета (здание курсов в 10-й линии Васильевского острова) в послеобеденное время. Да и могло ли быть иначе: немногие шли туда от скуки или из моды, а большинство стремилось сознательно и бескорыстно к образованию как к высшему благу, — говорю «бескорыстно» потому, что оно не давало тогда курсисткам никаких прав, а впоследствии даже лишало их таковых. Кто знал добрую, кроткую начальницу заведения, для того было наперед ясно, что тут царствовал дух любви и снисхождения; а между тем жизнь на курсах протекала более мирно, чем в заведениях с строгостями и наказаниями. За все мои года профессорства на курсах там произошло лишь один раз волнение, обратившее на себя внимание высшего начальства. Курсистки почуяли — справедливо или нет, не знаю — в одной из своих товарок шпионку и стали сильно волноваться, настаивая на ее удалении с курсов. Слух об этом достиг до главного начальника оных, попечителя округа, и он явился к Надежде Васильевне с требованием, чтобы она

усмирила бунт и защитила виновницу (может быть, и невинную) скандала, заметив, что в заведениях шпионы необходимы — тогдашний попечитель был генерал и отличался большой наивностью. Защитить виновницу скандала Над. Вас. взялась, но не из-за полезности той специальности, которая приписывалась ей курсистками, потому что «мой отец, генерал, — говорила Надежда Васильевна, — учил нас считать шпионство вещью непотребною». Это я лично слышал от Надежды Васильевны. Нет сомнения, что в те смутные времена бывали случаи обнаруженного участия отдельных курсисток в более или менее важных политических провинностях, и это обстоятельство, при тогдашнем огульном подозрении учащейся молодежи в политической неблагонадежности, отразилось на слушательницах Бестужевских курсов следующим образом. До начальства дошло, что бестужевки, выходя из заведения со свидетельствами об окончании курса, пользуются для получения места не этими свидетельствами,[1] а аттестатами из средних учебных заведений, полученными до поступления на курсы (без таких аттестатов на курсы не принимались). Поэтому в одно прекрасное утро петербургский обер-полицеймейстер Грессер вытребовал с курсов аттестаты среднеучебных заведений всех учащихся бестужевок и вернул их через некоторое время с приложением к ним нарочито изготовленных печатей, в которых значилось, что предъявительница есть бестужевка. Понятно, что рядом с этим было сделано распоряжение о недопущении к учительству лиц с такими печатями. В это время преподавателем богословия на курсах был ректор петербургской семинарии, протоиерей Розанов, — даже и он в разговоре со мной находил эту меру несколько преувеличенной. Не менее оригинальна была позднейшая реабилитация бестужевок в глазах начальства. Незадолго до распоряжения о закрытии курсов г. Делянов находит это заведение вредоносным даже в нравственном отношении; но как только эти самые курсы остались помимо него существовать и в главу их был поставлен коронный директор с 3000 жалования и такая же инспектриса с помощницами (платить жалование всем этим лицам, 8000 руб., должны были сами курсы), заведение оказалось и благоприличным и добропорядочным.

Во всяком случае Бестужевские курсы первого периода их существования представляют назидательный пример того, что могла бы сделать в России частная инициатива, если бы ей давали простор.

В конце 70-х годов жить в Петербурге, да еще в университетских кварталах города, было не особенно приятно: улицы кишели «гороховыми пальто» для наблюдения за обывателями вне домов, а внутри домов жильцы были отданы под присмотр дворников и через них под присмотр прислуги. В самые смут-

[1] Что понятно само собою, так как свидетельства эти не давали никаких прав.

ные годы этого тяжелого времени мы жили с женой в 4-й линии, почти на углу Большого проспекта, и одно время прямо против нас в 5-й линии был, должно быть, очень подозрительный для полиции дом. Наша тогдашняя прислуга, очень добрая и хорошая женщина, относилась не без участия к трудностям службы «агентов», ежедневно дежурившим днем и ночью на углу нашей улицы и Большого просп., признавая в то же время, что они получают хорошее вознаграждение, 50 руб. в месяц. На ночь, по ее словам, один из агентов получал от нашего дворника стул и, поселившись на чердаке нашего дома, наблюдал за верхними этажами противоположного. По счастью, прислуга наша не имела предательской наклонности подслушивать за дверьми, и лично мы пережили смутное время благополучно. Однако мне все-таки довелось притти случайно в прикосновение с историей, возникшей по доносу прислуги. В те годы один из моих учеников, В., наиболее способный из всех работающих в моей лаборатории, жил с двумя родными сестрами по-семейному, т. е. они нанимали общую квартиру, держали кухарку и стряпали дома. Брат кончал курс в университете, старшая сестра училась на медицинских курсах, а младшая была бестужевка, составляла лекции по физике и литографировала их, вследствие чего на квартире было множество исписанной бумаги и корректурных листов. Обстоятельство это показалось кухарке подозрительным, и по ее доносу в одну прекрасную ночь всех троих взяли после тщательнейшего обыска мебели, постельных тюфяков и даже стен (это я узнал от арестованных). Узнал я о постигшей их судьбе от одного из приятелей В. на другой же день их ареста и узнал от него же, что арест был произведен не тайной, а явной полицией.

Зная В. в течение нескольких лет как человека занимающегося со страстью и с успехом научными вопросами — нервами, а не политикой (в то время он уже напечатал в немецком Архиве Пфлюгера превосходную работу) и уверенный поэтому в его политической невинности, я написал о нем пространную докладную записку и явился с ней в обычные приемные часы к обер-полицеймейстеру Грессеру. Он сначала стал-было отнекиваться, когда я заявил, что В. арестован его полицией, но, наконец, смиловался, навел справку и, убедившись в справедливости моего заявления, просил притти к нему за ответом дня через два, что я, конечно, и сделал. При моем появлении в кабинете он распорядился, чтобы привели арестованных, и отпустил их на волю с наставлением быть осторожными в такие времена (не считая, конечно, такой необходимости для своих агентов), а меня по их уходе отпустил с заявлением, что доверяться теперешней молодежи невозможно.

В Петербурге жила тогда большая компания родных: моя старшая сестра Анна Михайловна (любимица моей жены) с мужем Н. А. Михайловским; брат Рафаил с женой Екат. Вас. (урожденной Ляпуновой) и дочкой Наташей; два брата студен-

та Ляпуновы (племянники Екат. Вас.), которых я знал еще детьми, и семья Крыловых: муж (Ник. Александр.), жена Софья Викторовна, сын Алексей (будущий моряк), свояченица Алекс. Викт. и маленький воспитанник-француз Виктор Анри. Все это были простые, превосходные люди. Старики мирно доживали свой век, а молодежь училась с таким рвением и успехом, что все четверо стали известными деятелями науки. В настоящее время Алекс. Мих. Ляпунов — выдающийся математик и академик; брат его Борис Мих. — профессор в Одессе и ученейший славист; Алексей Крылов — математик-изобретатель и кораблестроитель; Виктор Анри — известный физиолого-психолог. Из товарищей по университету я сошелся всего ближе с милым, добрым Дм. Конст. Бобылевым, водил знакомство с семьей Анд. Ник. Бекетова, бывал у Дм. Ив. Менделеева, Фед. Фом. Петрушевского и проф. Поссе. Кроме того, познакомился с семьями Ал. Ник. Пыпина и Над. Вас. Стасовой.

Понятно, что моя вне-университетская жизнь протекала преимущественно дома и в кругу родных за невинным безделием в виде безденежного винта, чтения литературных новостей и даже хорового пения, благо старший Крылов знал множество веселых русских песен, а брат Рафаил был большой любитель пения. Не далее как еще в прошлом году (1903) Никол. Алекс. Крылов, проездом через Москву, соблазнял меня приехать в Петербург на певческий вечер.

Вспоминая эту жизнь в кругу родных, не могу не вспомнить следующего обстоятельства. В молодости в инженерном училище я усердно занимался математикой, но по выходе из него совсем забросил ее — сначала из-за медицины, изучение которой длилось $9^1/_2$ лет (6 лет в университете и $3^1/_2$ года за границей), потом из-за ежедневных физиологических работ, не требовавших ничего, кроме самых элементарных математических знаний. Тем не менее время от времени на душе появлялось сожаление, что все, что приобреталось некогда в молодости, так легко давным-давно заглохло. В год, когда Алекс. Мих. Ляпунов кончал курс на математическом факультете Петербургского университета, я соблазнился, наконец, возможностью вспомнить, при его помощи, давно забытое и стал брать у него уроки, занимаясь рядом с этим самостоятельно по учебникам Шлёмильха. В год я одолел учебник Шлёмильха по высшему анализу, но дальше не пошел — опять засосали физиологические работы, а может быть, и потому еще, что был уже стар для движения по новым рельсам.

Из других событий этого периода петербургской жизни приведу еще два: историю с академией наук и историю с званием заслуженного профессора.

Выше было сказано, что, благодаря рекомендации одесского попечителя Голубцова, Дм. Андр. Толстой отнесся ко мне очень дружелюбно и перевел меня в Петербург. Здесь в первые годы его благорасположение, очевидно, продолжалось, по-

тому что раз я удостоился вместе с проф. Орестом Мюллером чести быть приглашенным к нему на обед, где мы оба имели, впрочем, вид не дорогих гостей, а оглашенных, так как хозяйка дома,[1] кивнув нам издалека головой, во весь обед не удостоила нас ни взглядом, ни словом. Вероятно, благорасположение Дм. Андр. ко мне продолжалось и долее, когда он сделался министром внутренних дел и президентом академии наук, потому что нежданно, негадано для меня Ягич (тогда профессор в университете и академик) обратился ко мне с вопросом, пойду ли я в академию, если меня выберут. В этот раз мне нечего было бояться «красных ушей», и я дал согласие. Вслед за этим Овсянников попросил у меня список моих работ; дело представления пошло, и мне стало известно, что в отделении я избран. Вскоре за тем на мое счастье[2] случилось следующее обстоятельство. Дело было весной, в утро праздника Вознесения; иду я по Васильевостровской набережной в лабораторию и недалеко от университета, вероятно задумавшись, прохожу мимо идущего навстречу господина, не узнавая его в лицо; но, пройдя мимо, узнаю, что это был Дм. Андр. Узнай я его в минуту встречи, я, конечно, не преминул бы поклониться ему; но теперь возвращаться назад с извинением было поздно, и я не вернулся. Через несколько дней мне сообщили, что президент академии положил на мое избрание veto, и я не был допущен до баллотировки в общем собрании.

Возможно, что в некоторой связи с этим академическим инцидентом стояло и другое мое фиаско, хотя деятелем здесь был другой граф — Иван Давыдович. Не помню, каким образом, сам ли я догадался, или кто меня надоумил, но только в 1887 г. я вспомнил, что профессорствую уже 27 лет, а за вычетом года отставки между медицинской академией и Одесским университетом — более 26. Когда я заявил об этом в университетской канцелярии, поднялось дело о моем представлении в звание заслуженного профессора. Много ли, мало ли прошло затем времени, но раз сижу я в совете, и прочитывается между прочим бумага от министра, в которой заявляется отказ на представление, потому дескать, что из 26 лет следует вычесть 10 лет, проведенных мною профессором в медицинской академии. Нужно заметить, что на меня первого обрушилась буква закона, по которому звание заслуженного получают лишь лица, профессорствовавшие 25 лет в университете, потому что еще за год до того профессору статистики были зачтены в университетскую службу годы профессорства в Горыгорецком институте. Это было тем более непоследовательно, что медицинская академия, как медицинский факультет, совершенно равнозначна университетским факультетам. На этом основании, по прочтении мини-

---

[1] Дочь знаменитого киевского сатрапа Бибикова.

[2] Ниже будет показано, почему я сказал здесь не «на беду», а «на счастье».

стерской записки, ректор (Андр. Ник. Бекетов) обратился к совету с вопросом, не найдет ли он нужным обратиться к г. министру с просьбой отменить выслушанное решение. Но прежде чем совет мог высказаться, я с своей стороны обратился к нему с просьбой не делать этого, так как уступка со стороны г. министра имела бы значение оказанной мне милости, а милость я могу принимать только от государя, но никак не от министра. Много лет спустя уже в Москве, к немалому моему огорчению и, конечно, без ведома с моей стороны, меня все-таки произвели в заслуженные, и я таким образом лишился желанного мною оригинального звания «незаслуженного профессора», несмотря на 40 лет профессорства.

Из вне-университетских событий за время моего пребывания в Петербурге следует отметить последний юбилей Грубера, 25-летний юбилей С. П. Боткина и банкет в честь генерала Радецкого по окончании последней турецкой войны.

У нас, в России, Грубер вполне заслуживал юбилеев редким в нашей стране трудолюбием и примерным выполнением принятых на себя обязанностей. Имея, кроме того, наивность измерять свои ученые заслуги числом находимых им ежегодно аномалий, он считал юбилеи заслуженною данью его учености и страстно любил эти праздники с их хвалебными речами и подношениями. Зная за ним эту слабость, друзья и почитатели устроили за 45 лет его профессорства в России три юбилея, и все три, со всеми документами, он описал сам на немецком языке и издал в Вене. Юбилеи Грубера начинались приветствиями подчиненных в анатомическом театре; за ними следовал прием депутаций в одной из зал медицинской академии; отсюда праздник переносился для друзей на его квартиру и заканчивался юбилейным обедом, на который он являлся торжественно, под ручку со своей верной Густи, которая шла счастливая, с букетом в руках, сиянием на лице и слезами на глазах. Счастье честного труженика Грубера и его милой верной жены было прямо-таки трогательно.

Юбилей Боткина носил иной характер и был, по моему мнению, испорчен известной пышностью и тем, что празднику был придан характер чествования юбиляра не столько ученым сословием, сколько городом и его представителем, городским головой, словно звание Боткина, как гласного думы, шло впереди его ученых заслуг. Праздник в зале городской думы начался музыкальной кантатой, сочиненной на этот случай Балакиревым, как только юбиляр показался в зале, встреченный громом аплодисментов. Для него и всех его близких была устроена настолько возвышенная над присутствующими эстрада, что говорившим речи приходилось сильно поднимать голову к лицу стоявшего на эстраде Боткина. В заключение всего в речи городского головы упоминалось имя Ньютона. Такое пересаливание, хотя и обычное в русских юбилеях, мне очень не нравилось; некоторые из приближенных заметили это и сочли, кажется, завистью с моей

стороны; но завидовать, право, было нечему: положение именинника мне всегда казалось несколько глупым, и я всю мою жизнь избегал именин и чествований; да и сам Боткин заявил мне после всех своих праздников, что выносить юбилейные торжества — неприятная обязанность.

Генерала Радецкого, как бывшего воспитанника инженерного училища, петербургские инженеры чествовали по окончании последней турецкой войны торжественным обедом. Меня пригласил на этот обед гостем генерал Александр Иванович Савельев, бывший в мое кондукторство дежурным офицером. За главным столом насупротив генерала Радецкого сидели: председатель банкета генерал Кауфман и два главных гостя — Достоевский и Григорович (оба воспитанники училища), за отдельным столиком против середины почетного стола,— Александр Иванович Савельев, мой товарищ по училищу (годом моложе меня), генерал Леер, известный стратег и впоследствии начальник академии генерального штаба, Эвальд, бывший в мое кондукторство учителем физики в училище, и я. Первую речь военного содержания говорил Леер; за ним очень весело и бойко описал старые порядки в училище Григорович (Достоевский почему-то молчал); после этого сказал несколько очень ловких слов Эвальд, а затем потребовали, чтобы говорил и я. Если бы я знал, что это случится, то приготовился бы; а теперь приходилось говорить экспромтом. К счастью, еще в памяти сохранились главные эпизоды войны, с которыми было связано имя Радецкого: переход его первым через Дунай, защита Шипки и последнее сражение за Балканами, которым кончилась война. Все это было упомянуто мною, но в такой неважной форме, что речь не имела успеха. В печати же она вышла очень красивой благодаря тому, что через день или два после банкета ко мне пришел, кажется, адъютант Радецкого и принес показать якобы записанную им мою речь, но в сущности им самим очень складно сочиненный перечень тех фактов, о которых я упоминал нескладно. Как Радецкий отвечал на тосты, не помню; но знаю, что он предложил тост за русского солдата. Вслед за этим публика начала вставать из-за стола. Достоевский шепнул мне, чтобы я потребовал тост за отцов и матерей русского солдата, т. е. за русский народ, и этим тостом обед закончился. После обеда встреча с некоторыми из моих прежних учителей, теперь седыми генералами (между ними был Паукер — поручик во время моего кондукторства, а теперь чуть не накануне назначения министром путей сообщения), и некоторыми из товарищей была для меня большой радостью. От этих встреч невольно пахнуло молодостью, и они оставили на душе очень сладкое воспоминание. Из товарищей встретил между прочим генерала Зейме, разжалованного некогда из фельдфебелей в рядовые. Он с улыбкой вспомнил наши прежние неудачи.

Перехожу теперь к жизни в петербургской лаборатории.

Обстановка была более чем скромная. Лаборатория состояла

всего из двух комнат — одной для профессора, другой для ассистента; инструментальных пособий было очень мало, бюджет маленький, и ко всему этому первые два-три года, пока не выработались из новых учеников два дельных ассистента, пришлось пробыть без надлежащего помощника. Тем не менее я работал здесь очень удачно и качественно сделал в сущности больше, чем в какой-либо из прежних лабораторий. Одной из работ завершились все мои прежние исследования—поглощением CO_2 соляными растворами, а другою — опыты с тормозящими влияниями в сфере нервной системы. Однако рядом с удачами, принесшими не мало хороших минут в жизни, было не мало и огорчений, принесенных в двух случаях собственными промахами и в одном—временной неспособностью довести работу многих лет до конца. В своем месте все это будет описано.

Чтобы не сидеть при первом обзаведении на новом месте без дела, я приехал в Петербург с готовым планом продолжать одесские опыты с растворами солей. С этой целью тотчас же по приезде в Петербург (в начале мая) мною был заказан известному превосходному механику[1] (фамилию его забыл) абсорциометр, с тем чтобы он был готов к сентябрю и удовлетворял ряду выговоренных наперед условий. Определить при заказе даже приблизительную цену инструмента он отказался, ссылаясь на невозможность указать заранее, сколько аппарат возьмет у него времени, так как подобных инструментов он никогда не делал; но механик был известен как крайне добросовестный человек, и я уехал на лето в деревню без всяких предчувствий. В сентябре инструмент был готов и удовлетворял всем выговоренным условиям на славу; но когда мне была объявлена его стоимость — 500 руб., вместо ожидаемых 150—200, я обомлел, потому что плата равнялась двум месяцам жалованья, а я жил почти исключительно на жалованье. Тем не менее механик был прав, потому что воспитался на работе астрономических инструментов, требовавших чуть не математической точности, привык работать с величайшей тщательностью и справедливо ценил такую работу очень высоко. Плата, не совсем по карману, была, разумеется, вскоре забыта, и затем мне пришлось лишь радоваться инструменту, дававшему возможность подмечать с уверенностью более тонкие вещи, чем инструмент, с которым я работал в Одессе.

Выше, при описании одесской работы с кровью, было уже вскользь упомянуто, почему я от крови отступил в сторону соляных растворов, а теперь опишу весь ход мыслей, вызвавших это отступление, длившееся годы.

Как только опытами была установлена для сыворотки значительная зависимость химического поглощения от давления, я

[1] Он был старшим механиком при Пулковской обсерватории, не ужился с новым директором оной и имел несчастье переселиться в Петербург, с тем чтобы завести тут мастерскую. Несмотря на то, что это был мастер первой руки, дела пошли у него плохо, и он кончил трагически.

думал, что для объяснения факта достаточно будет проделать более подробно опыты моих предшественников в этой области (Ферне и Л. Мейера с Гейденгайном) с растворами Na_2CO_3 и Na_2HPO_4, и это было сделано; но полученные результаты факта не объяснили, и это обстоятельство заставило меня искать возможного ответа в поглощении CO_2 растворами других солей, способных связывать CO_2 химически. Очень возможно, что отступление в эту сторону кончилось бы очень скоро, если бы я не напал в своих исканиях на растворы уксуснокислого натра. Полученные с этой солью результаты были так неожиданны и интересны, что остановиться на этих опытах не было возможности, тем более что область, в которую меня бросила судьба, была никем еще не изведана. Нельзя было не итти вперед, и к уже собранному материалу прибавились опыты с тремя новыми солями. Когда же вслед за этим все опыты с семью различными солями были сопоставлены друг с другом, в порядке нарастающих по силе кислот, то оказалось, что в руках имеется уже достаточный материал для установления общего характера *слабого химического поглощения* CO_2 соляными растворами. Во главе ряда стояли две соли почти равных по силе кислот, CO_2 и NaH_2PO_4, и растворы их отличались тем, что при достаточной степени разжижения соль реагировала с CO_2 всей своей массой и именно так, что CO_2 отнимала от растворенной соли в свою сторону половину ее основания, тогда как в густых растворах величина химического поглощения отставала от этого предела тем больше, чем гуще был раствор. За этими солями стояли такие, в которых химическая реакция не достигала вышеозначенного предела ни при каких степенях разжижения, хотя и здесь, как в предшествующих случаях, относительная величина химического поглощения увеличивалась по мере разжижения растворов. К третьей группе принадлежали соли, составлявшие уже переход от предшествующих к солям, образованным сильными минеральными кислотами. В одной из них были еще ясны признаки незначительного химического поглощения CO_2, т. е. признаки того, что CO_2 отнимала от растворенной соли в свою сторону незначительную часть ее основания, а в растворах другой соли эти признаки почти исчезали, и поглощение происходило уже по закону Дальтона — растворения газов в жидкостях. Как же было не вывести отсюда следующих двух заключений:

1) характер химической реакции с растворами солей везде один и тот же — повсюду CO_2 отнимает от растворенной соли часть ее основания, и при прочих равных условиях тем меньшую, чем сильнее кислота соли, и тем бо́льшую, чем сильнее разжижен ее раствор, и

2) сила минеральных кислот не бесконечно велика сравнительно с силой CO_2, следовательно и для растворов солей, образованных минеральными кислотами, должны существовать степени разжижения, при которых химическая реакция становится явственной.

Устоять против соблазнительности второго вывода было очень трудно, и я втянулся в опыты по этому вопросу, окончившиеся неудачей. Удача последовала много лет спустя в Петербурге.

Здесь я мог бы, конечно, остановиться, потому что соли с сильными кислотами ничего не обещали для химического поглощения CO_2 кровью; но если принять во внимание, что абсорпциометрический опыт совсем еще не касался этой области и сулил много нового, то делается понятным, что остановиться я не мог. Опыты с кровью пошли своим чередом, а рядом с ними пошла разработка вопроса, нельзя ли привести растворы солей, индифферентных к CO_2, в определенную систему, подобно тому как это удалось для солей, растворы которых поглощают CO_2 химически.

Соответственно этому, прежде всего нужно было решить, как следует дозировать растворы солей для сравнения их друг с другом со стороны поглощательной способности. При этом я руководствовался следующим соображением: если для такого дозирования существует общий верный критерий, то его можно найти лишь при следующем условии: если равные или эквивалентные количества солей — и, конечно, скорее всего близкородственных, — растворенные *одинаковым образом* в воде, дают растворы равной поглощательной способности. К счастью, отыскивать такой критерий пришлось не долго.[1] *Нужно брать для сравнения не равные, а эквивалентные количества солей в равных объемах растворов.* При этом условии близко-родственные соли в слабых и средней крепости растворах дают одинаковые коэффициенты поглощения CO_2.

Но почему же такое дозирование может служить общим критерием для сравнения растворов? По следующим двум причинам: соляной раствор можно рассматривать как низшую ступень соединения соли с водой, последующую за соединением соли с кристаллизационной водой; отзвуком этого родства и является то обстоятельство, что сравнимы между собой только растворы с эквивалентными количествами солей. Понятен смысл и второго пункта: закон Дальтона, которому следует поглощение CO_2 всеми вообще индифферентными к этому газу жидкостями, каковы и наши соляные растворы, относит величины поглощения к объемам жидкостей. Рядом с этим растворение до равных объемов обозначает равную степень раздвигания соляной частицы — равенство механических условий диссоциации соли водой.

Сравнение приготовленных таким образом растворов показало:

слабые и средней крепости растворы родственных солей поглощают равные количества CO_2;

при одинаковых основаниях: сульфаты[2] обладают наимень-

[1] Благодаря тому, что я для первой пробы взял слабые растворы двух столь близких друг к другу солей, как $MgSO_4$ и $ZnSO_4$.

[2] Для сравнения с солями одноосновных кислот брались, конечно, половинные паи сульфата.

шей поглощательной способностью, за ними следуют хлориды, и больше всех поглощают нитраты;

при одинаковых кислотах: меньше всего поглощают соли натрия, за ними идут соли калия, и больше всего поглощают соли аммония.

Такому распорядку солей с различной поглощательной способностью соответствует различная степень диссоциируемости их водой, или, в обратном смысле, различная степень жадности солей к воде; поэтому *общим классификационным принципом для приведения солей* (по отношению их растворов к CO_2) *в систему может быть только отношение их к воде.*

Эти же результаты, в связи с показанной выше возможностью смотреть на соляные растворы как на очень слабые соединения соли с водой, давали повод думать, что CO_2 поглощается собственно водой соляного раствора, а соль лишь ограничивает величину поглощения газа, притягивая в свою сторону воду.

На этом оборвалась моя одесская работа с солями и продолжалась она уже в Петербурге.

Во всех описанных доселе опытах растворителем соли служила одна вода, и роль ее в явлениях сводилась в сущности лишь на то, что, раздвигая соль при растворении на больший объем, она приводит ее в состояние большей или меньшей степени диссоциации. Вопрос же, не играет ли роли в явлениях и качество растворителя, оставался незатронутым — недоставало опытов с растворами солей в других растворителях, кроме воды. Такие опыты, помимо прямого интереса, были необходимы как естественное продолжение и конец предшествующих, где был выяснен вопрос об участии в явлениях состава соли. Итак, предстояло сравнивать между собой абсорпциометрически растворы одной и той же соли, конечно взятой в одном и том же количестве, в разных растворителях (напр.: в воде, спирте, глицерине и т. п.). При этом, основываясь на показании предшествовавших опытов, что сравниваемые между собой растворы должны быть одинакового объема, мне следовало бы прямо растворять одинаковые количества соли в разных растворителях до равных результирующих объемов, но я думал, что результаты получатся более простые, если соль будет действовать на равные объемы растворителей. К счастью, этот промах не имел дурных последствий и вскоре был исправлен; выбор же, для сравнения с водой, другого растворителя был, наоборот, крайне удачен. Сначала хотелось взять спирт, так как коэффициенты растворения CO_2 в нем даны опытами Бунзена; но для опытов со спиртом пришлось бы многое переделывать в абсорпциометре, и я решил вместо спирта взять водный раствор соли. Таким образом первая проба заключалась в сравнении следующих двух растворов:

$$NaCl + (\text{вода}) \text{ и } NaCl + (\text{раствор } NaNO_3 \text{ в воде}),$$

в которых растворителями одного и того же количества NaCl

служили равные объемы жидкостей, имена которых заключены в скобки.

Удача выбора растворителем водного раствора $NaNO_3$ сказалась тотчас же после того, как из сравнения приведенных растворов оказалось, что соль, прибавленная к разным растворителям, уменьшает поглощательную способность последних в одинаковой степени,— что получается, другими словами, следующее простое отношение между коэффициентами растворов a и b и коэффициентами растворителей α и β:

$$a : b = \alpha : \beta.$$

Именно, после этого явилась возможность проверить, не получится ли такое же отношение между коэффициентами следующих двух растворов:

NaCl + (вода) и NaCl + (раствор NaCl в воде),

из которых во втором растворителем (в скобках) служит стоящий слева раствор NaCl и где поэтому в жидкости содержится, при равенстве объемов, вдвое больше NaCl. Ожидание оправдалось и для этих растворов: если коэффициент левого обозначить через a, правого — через c и коэффициент воды — через α, то коэффициент растворителя в правом растворе будет α, и мы получим:

$$a : c = \alpha : a,$$

$$\text{откуда } c = \frac{a^2}{\alpha},$$

$$\text{или, при } \alpha = 1,\ c = a^2.$$

Дальнейшие опыты были направлены к проверке этого простого отношения между коэффициентами растворов NaCl, когда, при равенстве объемов, содержание в них соли возрастает от 1 к 3, 4, 5, и результаты соответствовали ожиданию.

Таким образом получился двойной результат: с одной стороны, было доказано, что

одно и то же количество соли, будучи растворено до равных объемов в разных растворителях, дает растворы, коэффициенты которых относятся друг к другу, как коэффициенты растворителей;

с другой стороны, получился

определенный числовой закон изменения коэффициентов раствора с изменением его концентрации или разжижения по объемам.

В первом из этих результатов содержалось уже ясное указание на роль растворителя в наших явлениях: *поглощательная способность всякого данного соляного раствора стоит в прямой зависимости от поглощательной способности растворителя, и соль в растворе имеет значение лишь фактора, ограничивающего величину поглощения газа, соответственно степени ее жадности к воде.*

После того как закон был установлен на нескольких растворах, его пришлось проверить на многих других примерах; при этом в кривых поглощения открылись несомненные признаки химической реакции CO_2 с диссоциированными водой солями — признаки тем более явственные, чем жиже раствор. Другими словами, здесь на опыте подтвердилась, наконец, мысль, возникшая в самом начале моей работы с соляными растворами,— что и соли минеральных кислот в растворах должны химически реагировать с CO_2, так как сила их не бесконечно велика сравнительно с силой CO_2.

Таким образом, *абсорпциометрия связала воедино все вообще соли от явственно разлагаемых в растворах угольной кислотой до таких, которые считались индифферентными к этому газу, доказав, что реакция* CO_2 *с растворами их повсюду одинакова и повсюду заключается в двойственном соперничанье* CO_2 *и соли из-за основания последней и из-за воды.* Такой результат достигнут абсорпциометрией благодаря лишь тому, что она дает с верностью почти тысячные доли миллиграмма.

Работа с солями и CO_2 длилась в Петербурге, с двумя большими перерывами, лет десять и принесла мне, рядом со многими счастливыми минутами, очень много огорчений. Некоторые биологи упрекали меня в том, что я, физиолог, отдаю слишком много времени и сил решению не-физиологических вопросов; и, я, конечно, сознавал основательность этих упреков, но оторваться от выяснявшейся постепенно заманчивой возможности найти ключ к обширному и никем еще не изведанному классу явлений не было сил. Два раза я прерывал опыты с CO_2, разрабатывая иные вопросы, но затем опять возвращался к ней. Благодаря этому в одном кружке даже сложилась такая стереотипная фраза: «И. М. Сеченов только и делает, что качает CO_2».[1] Еще более огорчало меня, опять-таки до известной степени справедливое, отношение химиков к моей работе. Полученные мною результаты они признавали и считали их достойными внимания, но находили, что мне бы следовало подкрепить их опытами с другими газами, кроме вечной CO_2. Говорить это было легко, но каково было выполнить такие предложения. CO_2 была выбрана для опытов потому, что она поглощается соляными растворами в сравнительно больших количествах, а все другие сподручные газы — O_2, H, N — растворяются так слабо, что о них нечего было и думать.

Таким образом, труд многих лет терял его главное значение — ключа к обширному классу явлений. С этой занозой в сердце я оставался до конца моего пребывания в Петербурге; пробовал искать утешения за границей, в Лейпциге и Париже, но маленькое утешение нашел только у моего дорогого учителя

[1] Слово «качать» произошло из того, что при опытах мне приходилось выкачивать из жидкости газы, а потом качать в воздухе приемник с жидкостью.

Людвига. Ему я сообщил все свои прежние результаты с солями слабых кислот и новые с солями сильных; он взглянул на них со стороны их абсорпциометрической законченности, понял, что достичь таких результатов можно было лишь долгим упорным трудом, и, видимо, остался доволен сделанным. К Оствальду я пришел с рукописным резюме работы; давал ему, в присутствии нескольких молодых химиков, разъяснения по поводу этого резюме; возражений он не делал, рукопись для напечатания принял (она появилась в его журнале под именем «Ueb. Konstit. d. Salzlös. auf Grund ihres Verh. zu Kohlens»), но когда я заявил, что желал бы отдать дальнейшую разработку этих вопросов в руки более компетентных химиков, то на обращение Оствальда к присутствовавшим с соответствующим предложением никто не выразил согласия. В Париж я ехал с мыслью напечатать петербургскую часть работы на французском языке, и это мне удалось при посредстве Дюкло. Но по отъезде я узнал из письма Мечникова, что работу считают важной, но находят, что она плохо написана. Позже, когда я уже был в Москве, мне удалось укрепить за работой то значение, которого я добивался; но об этом после.

В 1879 г., то ли я устал, или мне надоело «качать угольную кислоту», но только работа с ней была оставлена, и я занялся размышлениями, отчего бы могли задохнуться воздухоплаватели «Зенита» на высоте $^1/_3$ атмосферы, т.-е. занялся расчетом, в какой мере был не достаточен для дыхания приход O_2 в течение каждого дыхательного периода, на основании имеющихся по этому предмету физиологических данных. Норму часового потребления O_2—30 grm .— я принял правильно, но, переводя величину дыхания в куб. см. на 1′, сделал арифметическую ошибку — принял 700 к. см. вместо 350 и 50 к. см. на дыхательный период вместо 25. Понятно, что на основании такого расчета вывод был ошибочный — воздухоплаватели должны были задохнуться на высоте $^1/_2$ атмосферы. Конечно, я был очень огорчен, когда из-за границы получил письмо от Цунтца, в котором указывалось на ошибку и ошибочность вывода; но это горе вскоре заменилось радостью. В следующем же году ошибка была заглажена с лихвой статьей «Ueb. d. O-Spannung in d. Lungenluft unt. versch. Beding», напечатанной в Пфлюгеровском Архиве (Bd. XXIII). Здесь при расчете нормального потребления O_2 были приняты во внимание три обстоятельства: то, что кровь черпает O_2 из воздуха легочных пузырьков, что потери кислорода возмещаются не кислородом же, а атмосферным воздухом и что из вдохнутого объема воздуха в легочные пузырьки попадает лишь более или менее значительная часть. Если при этом принять, что дыхание во всех отношениях совершается с механической правильностью, то оказывается, что каково бы ни было исходное содержание O_2 в легочном воздухе, количество его, как величина, зависящая от величины периодического потребления O_2 и периодического же поступления в пузырьки известного объема воздуха, становится

И. М. СЕЧЕНОВ ЗА ОПЫТОМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РИТМА РАБОТЫ МЫШЦ РУКИ (1902 г.)

(в промежутки между выдыханиями и последующими вдыханиями) более или менее быстро стационарным. Понятно, что дыхание на различных высотах, при неизменности потребления телом O_2 и при постоянном уменьшении количества притекающего в легкое воздуха (так как объем вдыхания остается постоянным, а вдыхаемый воздух разрежен), ведет за собой постоянное уменьшение стационарного количества O_2 в легком, и как только последнее настолько понизится, что парциальное напряжение пойдет книзу от 20 мм., наступают условия для задыхания.

После того как промах был таким образом заглажен, естественно было распространить послужившие к этому рассуждения на другие составные части легочного воздуха и расширить рамку условий, могущих влиять на стационарное состояние каждого из трех составных газов легочного воздуха. Таким образом в Пфлюгеровском Архиве следующего года (Bd. XXIV, 1881) появилась статья под заглавием «Die Theorie der Lungenluftzusammensetzung». Здесь были разобраны следующие условия, влияющие на стационарные объемы легочных газов: вместимость легкого и объем вдыханий; сжатие и разрежение воздуха от 10 атм. до 0.4 атм.; состав вдыхаемого воздуха со стороны CO_2 и O_2 в процентах того и другого газа, со включением случая дыхания чистым кислородом; колебания в потреблении O_2 и производстве CO_2 со включением случая такого колебания при мышечной работе (когда объем образуемой CO_2 превышает объем потребляемого кислорода).

Другой, еще более длинный, перерыв «качания CO_2» ушел на работу с электрическими явлениями на спинном и продолговатом мозгу лягушки. Работа эта — «Galvan. Ersch. an d. verläng. Marke d. Frosch.» — появилась в Пфлюгеровском Архиве 1882 г. (Bd. XXVII). Здесь впервые были констатированы на выделенной из тела спинномозговой оси лягушки все три формы электродвигательных явлений, известные дотоле на нерве: покоящиеся токи, электротон и отрицательные колебания. Сверх того — и это были главные пункты исследования — были найдены: *a*) гальванические эффекты самопроизвольно родящихся в продолговатом мозгу двигательных импульсов, в виде спонтанных отрицательных колебаний тока; *b*) угнетение этих колебаний, resp. импульсов, сильной тетанизацией седалищных нервов в центростремительном направлении; *c*) угнетение при том же условии возбудимости спинного мозга на прямое раздражение и, наконец, *d*) усиление колебаний, resp. импульсов, вслед за прекращением тетанизации.

Значение всех этих фактов вытекает из следующего:

а) Развитие в продолговатом мозгу спонтанных колебаний тока вполне аналогично с давно известным развитием так наз. насильственных движений на лягушках с перерезками головного мозга по верхней границе продолговатого. Какова бы ни была первичная причина последних, в основе их во всяком случае лежат возбуждения центров. Значит, факт *a)* впервые устанавли-

вает некоторую аналогию между процессом возбуждения центра и нерва или, по крайней мере, аналогию между внешними выражениями этих процессов.

b) Угнетение спонтанных колебаний сильной тетанизацией чувствующих нервов, очевидно обязанное своим происхождением угнетению возбудимости всей спинномозговой оси (это вытекает из факта *c*), вполне аналогично с тем, что дает по моим опытам такая же тетанизация на лягушках (с отнятыми полушариями и на обезглавленных) в отношении рефлексов, выражающаяся с виду угнетением кожной чувствительности (см. выше).

c) Хотя угнетение возбудимости нервных центров при сильной тетанизации чувствующих нервов было констатировано только на спинном мозгу, за невозможностью приложения прямых раздражений к продолговатому, но сомневаться в том, что и здесь эффект нервной тетанизации тот же, очевидно невозможно — за это говорит факт угнетения возбуждающих толчков.

d) Факт последующего за прекращением тетанизации нарастания спонтанных колебаний, resp. возбуждающих толчков, важен в трояком отношении, доказывая: 1) что угнетение этих колебаний не может быть отнесено к истощению или утомлению нервных центров; 2) что последние во время тетанизации должны, наоборот, заряжаться энергией (иначе развитие сильных движений по ее прекращении было бы непостижимо), и 3) представляя полную аналогию с найденным мною усилением рефлексов (на лягушке) вслед за прекращением угнетающей их тетанизации нервов.

Из фактов *b*) и *d*) вытекает, наконец, с очевидностью, что в угнетении возбуждающих толчков в продолговатом мозгу тетанизацией приводящих нервов мы имеем несомненную аналогию с угнетением деятельности сердца раздражением *vagi*, ибо как здесь, так и там эффект определяется не истощением или утомлением нервных центров, представляя случай так наз. торможения деятельности органа. Аналогия эта восполнена Гейденгайном, повторившим на бродящем нерве и сердце мой опыт с раздражением седалищного нерва лягушки солью и последующей затем отрезкой раздражаемого участка: параллельно полученным мной эффектам, угнетению рефлексов и усилению их, он получил остановку сердца и усиление сердечной деятельности. Аналогия эта дает, наконец, право заключить, что и в акте диастолической остановки сердца определяющую роль играет угнетение возбудимости нервно-двигательных механизмов.

К этому же промежутку времени относятся опыты с усилением возбуждения нервов без усиления раздражающего тока приложением к нерву тройных электродов. По опытам Пфлюгера с изменением раздражительности на полюсах поляризующего тока, с прибавкой к ним одного из наблюдений студента Петербургского университета, теперь одесского профессора физиологии, Вериго, нерв возбуждается раздражающим током в сфере катэлектротона всего сильнее при условии, если раздра-

жающий ток приложен к нерву таким образом, что его отрицательный полюс обращен к отрицательному полюсу поляризующего тока. Если поэтому взять вместо двух электродов три, с ответвлением от одного из них, как показано толстыми чертами на рисунке (рис. 2), то приложение раздражающего тока (слабого постоянного или индукционного удара) к нерву в восходящем направлении будет соответствовать вышеупомянутому условию наисильнейшего возбуждения нерва. Опыты и подтвердили это предположение.

Упомяну еще о маленькой заметке касательно почечного кровообращения, напечатанной около того же времени.

Между очистителями крови от не утилизируемых более продуктов распада веществ легкие и почки стоят на первом плане: первые очищают кровь от газообразных веществ, а вторые — главным образом от растворимых в виде продуктов распада белковых веществ. Легкие по объему и местоположению устроены очень удобно для выполнения своей задачи: при очень большом объеме они лежат на пути всей протекающей по телу крови, а почки (очищающие *всю* кровь!) лежат в стороне главного ее пути с боку брюшной аорты, и так малы, что по ним, судя по объему, может протекать лишь очень незначительное количество крови. Сравнительно более выгодные условия в устройстве легких объясняются тем, что ими в сутки выводится средним числом 900 грм. вредного вещества (CO_2), а почками, если не считать безвредной воды, много-много 40 грм. Но этим все-таки не исчерпывается вопрос, каким образом почки, будучи очистителями *для всей крови*, справляются с своей задачей при малом объеме и при невыгодном расположении в стороне от главного пути крови. Справляются же они очень исправно, насколько можно судить по быстроте, с какою выводятся ими из тела излишки воды.[1] Легко понять, что такое явное несоответствие между положением почки на кровяном пути и ее кровоочистительной функцией могло бы быть устранено или прохождением через почку сравнительно (с ее объемом) больших количеств крови, или таким устройством органа, которым создавались бы в почке условия для сильной фильтрации воды. Известно, что Людвига, построившего фильтрацион-

[1] Прямыми опытами доказано, что маленькие почки кролика способны в течение нескольких часов вывести более 1 литра воды, вводимой искусственно в виде физиологического раствора поваренной соли. В лейпцигской студенческой кнейпе, где я некогда обедал, во время опытов над собой с влиянием алкоголя на выделение мочевины, хозяин обыкновенно записывал на черной доске мелом имена вечерних посетителей и число выпитых каждым из них кружек пива. Раз на этой доске я не без удивления увидел фамилию « Motz » и рядом цифру 34. На мои расспросы хозяин сообщил, что в предшествующий вечер г. Мотц выпил с 6 ч. вечера до 12 ч. ночи 34 шопена пива без малейшего вреда для себя. Подобный же случай я видел в деревне у родных в день престольного праздника. Их кучер Семен выпил в короткое время чуть не ведро браги, отек и со страху пришел ко мне, отекший, как к доктору. Узнав, в чем дело, я его успокоил, и вечером отек прошел.

ную теорию мочеотделения, увлекли в эту сторону три факта, сильно говорившие с виду в пользу фильтрации: высокое давление крови, входящей в почку, свободное положение почти голых сосудов Мальпигиева клубочка (где выделяется вода) в мочевых капсулах и быстрый переход артерии клубочков в волосную сеть. Известно далее, что фильтрационная теория пала; опытами Гейденгайна было доказано, что фактором, определяющим количество выводимой из крови воды, является не давление крови, а сравнительная быстрота кровяного тока по органу. В пользу этой мысли он привел справедливо особенно широкий просвет почечной артерии сравнительно с объемом органа, но оставил без надлежащего внимания самую главную особенность в снабжении почки кровью. По этой причине и появилась моя заметка. В ней было показано, что быстрота протекания через почку сравнительно больших количеств крови определяется, помимо краткости почечного пути, больше всего огромной разницей давления крови при входе ее в почку и при выходе из последней, чем в то же время определяется крутой спад давлений по длине почечных сосудов.

Одновременно с этой заметкой была напечатана мною другая — касательно выравнивания силы вертящихся индукционных токов, где я, по какому-то непостижимому помрачению ума, сделал такую ошибку в ходе токов по разветвленным проводникам, которую едва ли сделал бы гимназист, прослушавший элементарный курс физики. Ошибка эта порядочно-таки помучила меня. Хорошо еще, что она случилась много позже того, как Дмитрий Андреевич забраковал меня в академию наук, иначе это был бы скандал, способный истерзать душу. По этой именно причине и было мной сказано выше, при описании моего академического фиаско, что я, *к счастью,* не попал в академию.

Итак, жизнь в лаборатории Петербургского университета принесла мне много счастливых минут и не мало горя. Известным утешением могли служить уже имевшиеся в руках доказательства, что работы дали мне некоторое имя на Западе, но могли ли они вырвать из души занозу, когда мне в конце чуть не десятилетней работы с CO_2 было сказано: «все, что вы сделали, очень хорошо, но частный случай; докажите ваш закон вообще на других газах».

Из-за положительной невозможности выполнить предлагаемое пребывание в петербургской лаборатории стало казаться мне бесцельным, даже неприятным, и я решил заменить профессорство более скромным приват-доценством в Москве, где, по имевшимся сведениям, физиология не была в авантаже. С этой целью в 1888 г. я вышел в отставку и уехал прежде всего отдыхать на целый год в деревню к жене. Отсюда я списался с моей старой приятельницей Надеждой Федоровной Шнейдер. Она (тогда уже вдова) была замужем за профессором гистологии Бредихиным (братом известного астронома), имела связи в университете и могла доставить мне верные сведения, наскольк-

ко мое намерение приватдоцентствовать в университете может не нравиться некоторым из профессоров. Получился ответ, что моему переселению действительно не сочувствуют. На это я просил успокоить, что никого не стесню и никому не стану поперек дороги. Тогда получился удовлетворительный ответ, и я ранней весной съездил в Москву подать прошение о приватдоцентстве. Был у декана и ректора (физиолога Иванова), но не застал ни того, ни другого дома; прислуга ректора мне объявила, что он очень любит архиерейское служение и находится на таковом. Принял меня, и очень любезно, только попечитель, граф Капнист, заметивший между прочим, что по новому уставу мне незачем было выходить в отставку, чего я не знал и чего мне не сказали в Петербурге. По приезде в Москву я встретил дружеское участие со стороны молодого профессора сравнительной анатомии, милого, доброго Мих. Алекс. Мензбира. Он дал мне в своем небольшом помещении отдельную комнату, и здесь я прожил целый год.

Не располагая никакими инструментами, кроме абсорбциометра, ножа и индукционного снаряда, и не желая стеснять физиологическую лабораторию, я решил читать отдел физиологии, не требовавший сложных инструментальных пособий, именно центральную нервную систему. Плодом этого была написанная мною в Москве «Физиология нервных центров». Мою первую лекцию начальство не удостоило почему-то своим посещением; студентов на лекциях было довольно много, но гонорара я получил всего 60 рублей.

В этом же году я был приглашен читать лекции медикам в помещении их клуба по Большой Дмитровке. Слушателей было так много и гонорар так велик, что у меня родилась мысль устроить в Москве маленькую лабораторию. Попечитель обещал дать мне небольшое помещение, я же, по истечении академического года, поехал за границу покупать инструменты и побывал с этой целью в Париже. В этот именно приезд я и попытался через посредство Дюкло вызвать у французов интерес к моей работе с CO_2, о чем было упомянуто выше. На возвратном пути в Россию заехал в Лейпциг к моему дорогому учителю Людвигу. В виду неопределенности моего тогдашнего положения он без всякого вызова с моей стороны сказал мне, чтобы я имел в виду, что, пока он жив, в его лаборатории всегда будет комната для меня. Вернувшись в Россию, я узнал, с большим огорчением, что обещанного мне помещения нет, и почти решил в уме работать у Людвига за границей, а в Москве читать лишь лекции. Доживаю я с этими мыслями конец лета в деревне у жены и вдруг получаю от попечителя телеграмму, в которой значится, что, по случаю неожиданной кончины профессора физиологии Шереметевского, медицинский факультет и он, попечитель, предлагают мне занять эту кафедру. Сознание, что на этом месте я могу принести медицинскому факультету больше пользы, чем приват-доцентством без рабочего угла, заста-

вило меня принять предложение, и в последовавшие затем десять лет профессорства (1891—1901 гг.) не было повода раскаиваться в этом решении: товарищи по медицинскому факультету приняли меня радушно; в лаборатории, в лице моего ближайшего сотрудника Льва Захаровича Мороховца, я нашел такого дружелюбного товарища, что за все десять лет ни разу не чувствовал себя пришельцем в чужое гнездо; наконец, между учениками мне посчастливилось найти друга, М. Н. Шатерникова, работать с которым было для меня большим наслаждением, тем более что работали мы не без успеха. Дружеское и крайне ценное для меня расположение я встретил еще в год приват-доцентства со стороны таких людей, как Климент Аркадьевич Тимирязев и проф. Столетов, а впоследствии сошелся еще с Александром Ивановичем Чупровым и Николаем Ильичем Стороженко. Нужно ли говорить, что при таких условиях жизнь протекала мирно и приятно. А впоследствии ко всему прочему присоединился переезд из Одессы в Москву друзей Умовых, Николая Алексеевича и Елены Леонардовны. Она и по сие время осталась для меня другом, непосредственно следующим за моим первым неизменным другом — женой.

Когда я получил кафедру физиологии, Л. З. Мороховец состоял при ней, по новому уставу, прозектором, и первым моим делом было выхлопотать ему звание экстра-ординарного профессора. После этого нам уже было легко поделиться полюбовно нашими занятиями по кафедре, как двум равноправным членам. Он обладал большими хозяйственными талантами, я же лишен таковых; поэтому заведывание институтом было предоставлено ему, тем более что он был устроителем физиологического института; мне же, как более опытному лектору, предоставлено было большее число лекций (мне четыре часа в неделю, ему два). В полное свое распоряжение я получил две комнаты в нижнем этаже и зажил в них приятнейшим образом с моим сотрудником Мих. Ник. Шатерниковым. Деликатности и дружелюбию Льва Захаровича я обязан тем, что, прожив в этих комнатах спокойно десять лет профессорства, живу в них спокойно и теперь, по выходе в отставку. Какое это счастье, может понять лишь тот, кто подобно мне прожил чуть не полвека в лаборатории (с 1856 г.) и уже не способен к иной форме существования.

Не малое утешение принесло мне также знакомство с женскими курсами при обществе воспитательниц и учительниц, куда я был приглашен читать лекции. И здесь, как в дружной семье бестужевок, времен Надежды Васильевны Стасовой, чувствовались та свобода и непринужденность, в связи с порядочностью, которые даются семье только образованностью ее членов, порядочностью преследуемых семьей целей и любовным отношением старших к младшим. Отрадно вспоминалось в этой среде былое; на лекциях перед моими глазами опять сидели бескорыстно стремившиеся к знанию бестужевки со столь знако-

мым мне напряженным вниманием на лицах. Не отсутствовало и подобие незабвенной Надежды Васильевны Стасовой в лице распорядительницы курсов Анны Николаевны Шереметевской, гораздо более молодой, чем Надежда Васильевна, но такой же доброй и энергичной на всякое доброе дело. Учреждение это имело благую цель — дать возможность пополнить образование учительствующим и готовящимся к учительству женщинам; оно не стоило правительству ни копейки, не требовало для слушательниц никаких прав и жило себе годы спокойно, но не пользовалось организованным правительственным надзором (т. е. коронным директором и его помощниками с жалованьем) и было поэтому закрыто, как только возникли высшие курсы Герье. Самоуправление у нас вообще не в моде.

Не мало хороших минут, помимо дружеского общения с товарищами, было пережито и в лаборатории Московского университета. В первый же год моего профессорства кончились мои мучения из-за судьбы моей работы с CO_2. Судьба словно сжалилась надо мной, послав мне в голову мысль испробовать, не оправдается ли найденный мною закон растворения газа в объемно-разжижаемых соляных растворах, если вместо CO_2 растворять в соляных растворах соль, индифферентную к соли растворителя. С этой целью я стал разыскивать в литературе этого вопроса случаев, где растворитель разжижался бы, как в моих опытах с CO_2, в объемном отношении. Такой случай был найден в исследовании Bodländer'a,[1] и мне оставалось только подвести данные его опытов под формулу $y = \alpha e - \frac{\kappa}{x}$, чтобы убедиться в приложимости закона к растворению солей в соляных растворах. Несколько позднее московский химик Яковкин подтвердил своими исследованиями[2] этот результат в более общей форме. Таким образом я добился-таки до универсального ключа к обширному классу явлений.

До сих пор я работал всегда в одиночку; но как только получил в студенте Шатерникове возможного сотрудника, с милым нравом, хорошей головой и искусными руками, стал работать с ним. Первой нашей работой было устройство придатка к манометру моего абсорпциометра для быстрого, точного и повторительного анализа атмосферного воздуха.[3]

Преимущества этого способа перед обыкновенным эвдиометрическим заключались, помимо быстроты, в том, что отсчитывание газовых объемов производилось под водой и устранялась ошибка смачивания стенок эвдиометра щелоком тем, что в оба

---

[1] Ueber die Löslichkeit von Salzgemischen im Wasser. Zeitschr. f. Physikal. Chem. Bd. VII, Heft 4.

[2] А. А. Яковкин. Распределение веществ между двумя растворителями в применении к изучению явлений химической статики. Ученые записки Моск. унив., отд. естеств.-историч., вып. 12, 1896.

[3] M. Schaternikoff und J. Setschenow. Ein Beitrag zur Gasanalyse. Zeitschr. f. physik. Chemie, XVIII, 4, 1895.

колена манометра наливались столбики щелока равной высоты.

Во второй общей работе план исследования и некоторые детали аппарата принадлежат мне; все же остальное и приведение аппарата в действие было делом его рук.[1]

Основной смысл нового способа измерять на человеке объем выдохнутого воздуха и количество содержащейся в нем CO_2 заключался в следующем. Если неизвестный объем выдыхаемого воздуха x, проходя по системе трубок, встречает щелок и теряет в нем поглощением измеримый объем A угольной кислоты, то за пределами щелока будет проходить объем $x-A$. Если при этом известен процент угольной кислоты (a) в выдыхаемом воздухе до его прохождения через щелок и соответственный процент (b) за его пределом, то все выдохнутое количество CO_2 будет $\frac{ax}{100}$, а количество оставшейся после поглощения щелоком — $\frac{(x-A)b}{100}$. Отсюда

$$\frac{(x-A)b}{100}+A=\frac{ax}{100},\ \text{и}\ x=A\frac{100-b}{a-b}... \qquad (1)$$

Вместе с этим делается, конечно, известно и количество выдохнутой $CO_2\left(\frac{ax}{100}\right)$. Если известны, наконец, проценты O_2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, то, предполагая объемы вдохнутого и выдохнутого воздуха равными друг другу, получается приблизительно верное определение количества потребленного кислорода.[2]

Из формулы (1) непосредственно видно, что пригодность способа требует: 1) очень точного определения количества поглощенной щелоком угольной кислоты, потому что A множится на 100 даже в том случае, если бы весь щелок исследовался на поглощенный газ; 2) очень точного определения обоих процентов угольной кислоты, a и b, и 3) настолько сильного поглощения CO_2 щелоком, чтобы знаменатель превышал единицу или был по крайней мере равен ей. Сверх последнего условия, поглощатель CO_2 должен был оказывать возможно малое сопротивление току выдыхаемого воздуха.

Последним двум условиям удовлетворяло устройство погло-

---

[1] М. Н. Шатерников. Новый способ определения на человеке количества выдыхаемого воздуха и содержащейся в оном CO_2. Москва, 1899.

[2] Более точное определение этой величины получается по азоту выдохнутого воздуха. Так как при дыхании количество азота остается неизменным, следовательно раз определены объем выдохнутого воздуха и процентное содержание в нем азота, то известно и количество его во вдохнутом воздухе; Количество же это, будучи помножено на $\frac{21}{79}$, дает содержание O_2 во вдохнутом воздухе. Так, если объем выдохнутого воздуха V, а c есть процент в нем азота, то $\frac{Vc}{100}\cdot\frac{21}{79}$ будет объем кислорода.

щателя в форме низкой широкой Вульфовой склянки (с выводной трубкой в дне), вводная трубка которой кончалась на нижнем конце, погруженном в щелок, широким плоским цилиндром со множеством отверстий на боковой поверхности и в дне. Размеры склянки и цилиндра были рассчитаны так, чтобы слой потребного для опыта щелока поверх выходных отверстий цилиндра не превышал 1 сант. Таким образом, сопротивление со стороны жидкости току воздуха не превышало 20 мм. воды (это показывал манометр, помещенный перед поглощателем). Над щелоком помещалась, против разбрызгивания его вырывающимся из отверстий воздухом, густая металлическая сетка. Впоследствии этот поглощатель был значительно усовершенствован Шатерниковым.

Части выдыхаемого воздуха для анализа на CO_2 отводились от главного пути одновременно и равномерно по обе стороны поглощателя во все продолжение опыта. Одновременность достигалась тем, что ртуть, наполнявшая собирающие газ цилиндры, вытекала из них не прямо, а через посредство соединяющегося с ними третьего открытого сверху цилиндра. Равномерность же вытекания ртути из всех трех цилиндров достигалась следующим простым устройством. В простых стенных трехрублевых часах гиря опускается равномерно при любой длине маятника, и тем быстрее, чем он короче. Если, следовательно, связать с гирей таких часов свободный конец выводного каучукового рукава из 3-го цилиндра, поместив вытечное отверстие рукава в один уровень с ртутью во всех цилиндрах, то при ходе часов вместе с вытеканием ртути из рукава будет происходить одновременно опускание уровня ртути в цилиндрах и опускание вытечного отверстия. Для того же, чтобы ртуть в цилиндрах опускалась с такой же быстротой, как вытечное отверстие (иначе опускание ртути в цилиндрах не было бы равномерно), на пути ртути в рукаве был кран, и предварительными пробами было установлено, насколько он должен быть открыт, чтобы опускание во всех четырех местах происходило с одинаковой быстротой.

Для определения *A* брались $^1/_{10}$ всего щелока; поглащенная им CO_2 выделялась кислотой в особо устроенном аппарате без малейшей потери и измерялась волюметрически.

На долю Шатерникова выпала замена сомнительного мундштука Цунтца, с зажимом на носу, очень удобной и верной гуттаперчевой маской, плотно (luftdicht) прилегающей к лицу вокруг носа и рта и легко прилаживаемой (нагреванием краев маски до размягчения гуттаперчи) к неправильностям лицевой поверхности любой формы. Его же трудами установлена форма абсорпционной трубки для волюметрического определения малых количеств CO_2 в больших объемах воздуха. Им же были слажены все части снаряда, прибавлен к нему регистратор дыхательных движений, и машина пущена в ход.

Составляя план этого способа, я думал проверять главный

результат опытов — высчитанный объем выдохнутого воздуха — введением в самый конец системы газовых часов; но аппарат этот оказался не пригодным для измерения газовых объемов, проходящих через часы толчками. Поэтому способ оставался непроверенным до последней самостоятельной работы уже доктора Шатерникова, произведенной в 1903—1904 г.[1]

Ему пришлось изучать дыхание газовыми смесями, большие запасы которых собирались в газометрах известной емкости, и через это получилась возможность сравнивать высчитанные из опыта объемы вдохнутого воздуха с объемами, действительно потребленными и известными из калибровки газометров. Таким образом пригодность способа доказана Шатерниковым.

Вслед за тем как был устроен описанный аппарат для дыхания человека в неподвижном положении, мы постарались придать ему портативную форму, дающую возможность измерять дыхание на ходу. Легко понять, что цель эта могла быть без труда достигнута при помощи двух легких станков, перекинутых посредством ремней через плечи с груди на спину. На грудном станке укреплялся поглощатель CO_2, отводные плоские фляжки (вместо цилиндров) укреплялись на плечах, а снаряд с понижающимся вытечным отверстием был на спине. Описание аппарата и опыты с ним помещены в журнале Л. З. Мороховца «Physiologiste russe».[2] Признаюсь откровенно, устройство портативной формы было для меня большой радостью, потому что исследование дыхания на ходу было всегда моей мечтой, казавшейся притом же невыполнимой.

Когда в конце 80-х годов прошлого века стали приходить из-за границы известия о сокращении времени рабочего дня до 8 часов, без урона для производства, мне пришла в голову мысль разобраться в не затронутом дотоле вопросе, почему сердце и дыхательные мышцы могут работать без устали, а человек, даже привычный к ходьбе, не может пройти без утомления 40 верст привычного пути по совершенно ровной дороге и без всякого отягощения тела, т. е. при условии, когда производимая работа не превышает работы за тот же срок (10 часов, считая 4 версты в час) сердца, т. е. левого желудочка. Причин этому, я думаю, две: более быстрый дренаж сердца артериальной кровью и бо́льшая продолжительность в нем фаз отдыхов работающей мышцы сравнительно с фазами деятельности. Для желудочка при 75 ударах в минуту отношение между ними как 3 : 5, а при ходьбе, в каждой ноге в отдельности, обе фазы приблизительно равны, насколько равны между собой по продолжительности непрерывно перемежающиеся сокращения сгибателей и разгибателей ноги. С этой точки зрения неутомляе-

[1] M. Schaternikoff, Zur Frage uber die Abhängigkeit des O_2-Verbrauches won dem O_2- Gehalte in der einzuathmenden Luft. Engellmann's Archiv. Suppl Bd., 1904.

[2] Prof. J. Setschenov und Dr. M. Schaternikoff. Ein portativer Athmungsapparat. Vol. II, p. 44, 1900.

мость и дыхательных мышц объяснима тем, что minima утомле-ния вслед за каждым сокращением успевают вполне изгладиться в течение длинных фаз отдыха, а при ходьбе, вследствие краткости последних, полного сглаживания не происходит. Разницы в сравнительной продолжительности фаз деятельности и покоя дают, при таком взгляде, возможность высчитать, как велик должен был бы быть дополнительный отдых к 10-часовой ходьбе для превращения ее в неутомляемую работу, если бы дренаж ножных мышц артериальною кровью был столь же быстр, как сердечный. В течение 10 часов сплошная работа желудочка (т.-е. сумма всех сокращений) длится $3^3/_4$ часа, а сплошная фаза отдыха — $6^1/_4$ час.; в ходьбе же обе эти величины равны 5 час. Но 5 часов сплошной работы сердца, без утомления, потребовали бы $8^1/_3$ час. отдыха; следовательно, к 10-часовой ходьбе для сглаживания утомления следовало бы прибавить $3^1/_3$ часа дополнительного отдыха, разумеется, сверх тех 8 часов сна, которые потребны и неусталому человеку.

Эти соображения были развиты мною в одной из публичных лекций и послужили впоследствии поводом к моей последней лабораторной работе — касательно неутомляемости рук при правильно периодической работе (напечатана в «Physiologiste russe»[1]). Опыты я делал на самом себе, и прежде всего мне пришлось приучить работающую руку двигаться с машинальной правильностью (по ударам метронома), без участия воли, так, как двигаются по привычке при ходьбе ноги. Затем был найден наиболее выгодный для рабочей руки темп движений и наибольший груз, при котором высоты его поднятия оставались в течение часов постоянными. Таким образом мне удалось раз сделать без устали руки в течение непрерывной 4-часовой работы 4800 сокращений. Затем следовала серия опытов с большими грузами, дающими ясные признаки утомления (в виде постепенного уменьшения высот поднятия груза). Здесь были испробованы различные виды отдыхов от утомления, и между ними, к немалому моему удивлению, наиболее действительным оказался не временный покой работающей руки, а покой ее, даже более кратковременный, связанный с работой другой руки. Естественно было предположить, что в этом влиянии временно работающей руки на временно покоящуюся играют роль чувственные моменты, связанные с движением; и это подтвердилось, когда возбуждающие движения были заменены легкой тетанизацией руки. Поверочные опыты с очень большими грузами, производящими утомление до невозможности двигать рукой, дали то же самое. Таким образом найденные факты пришлось отнести в категорию издавна известных пособников работы — оживленного настроения, песни, музыки и т. д. В частности же найденные факты имеют, может быть, значение пособников против утомления при

---

[1] Prof. J. Setschenov. Zur Frage nach der Einwirkung sensitiver Reize auf die Muskelarbeit des Menschen. Vol. III, 1903.

ходьбе и всех вообще работах, где действуют попеременно различные рабочие органы тела.

Писательская деятельность за этот период времени выразилась тремя книгами: «Физиологией нервных центров», очерком рабочих движений и переводом с немецкого большого сочинения Ф. Ноордена.

В первой из них, имевшей целью собрать воедино с критикой все, что было сделано существенного в этой области, нового было в сущности лишь введение в трактат — общий обзор нервных явлений, с лежащей в основе его мыслью, что в животном теле, как машине, все вообще нервные аппараты имеют значение автоматических регуляторов, вроде, например, предохранительного клапана Уатта в паровике. Мысль эта была проведена через всю область явлений — от рефлексов, обеспечивающих сохранность отдельных органов тела, до регулирования всех вообще передвижений тела в пространстве показаниями органов чувств. При таком взгляде равнозначность всех вообще изучаемых физиологией нервных явлений выступает с особенной яркостью: оказывается, что животная машина управляется двоякого рода импульсами: родящимися в самой машине изменениями в ее ходе и импульсами, приходящими извне. Соответственно этому в состав регулятора входит аппарат, воспринимающий импульс и дающий, так сказать, сигнал к деятельности двигательной части, производящей регуляцию. В регуляторах, действующих по типу рефлексов, сигнальные части снарядов отличаются в сущности лишь тем, что в наиболее простых снарядах сигналы не доходят до сознания, в более сложных чувствуются сознательно, а в области высших органов чувств способны даже к качественным видоизменениям.

Описать рабочие движения человека меня побудило то обстоятельство, что в физиологическом учении о деятельности мышц рабочая сторона мышечных движений оставляется в стороне. Соответственно этому в этом небольшом трактате общую часть составляет описание элемента рабочей машины, т.-е. костного рычага, его осей вращения, суставных скреп, тяжей антагонистов и заправляющего движением нервного аппарата. В специальной же части, рядом с подробным описанием условий подвижности и устойчивости различных членов тела, иллюстрированы примерами работы, производимые укорочениями и удлинениями рук и ног, сгибанием и разгибанием туловища и проч. В этой работе есть, по моему мнению, не мало фактов, достойных внимания, особенно со стороны расположения мышечных тяг в руках и ногах.

Переводом медицинской книги Ф. Ноордена я хотел выразить некоторым образом мою благодарность московскому медицинскому факультету, давшему мне приют на старости лет. В этой очень важной для клиницистов книге Ф. Ноорден имел великое терпение и большую заслугу выбрать из громадной (приведенной им) литературы все имеющиеся налицо данные касательно изу-

чения обмена веществ на больном человеке. В виду того обстоятельства, что *всестороннее* изучение обмена веществ, составляющее единственный рациональный путь к научному изучению болезненных состояний, возможно лишь для специалистов по медицинской химии и совершенно невозможно в тех маленьких химических кабинетах при клиниках, где производится с грехом пополам исследование извержений больных, я возымел следующую мысль, изложенную мною в предисловии к переводу: там, где клиники (как в Москве) скучены в одном месте, уничтожить находящиеся при них бесполезные химические кабинеты и учредить вместо них центральную лабораторию для всех клиник; устроить ее на всестороннее изучение обмена веществ и поставить во главе ее профессора медицинской химии с помощниками. Это учреждение представляло бы институт медицинской химии с двумя рабочими отделениями — для практических занятий студентов и для химико-клинических исследований, которые должны были бы производиться под руководством специалистов ассистентами клиник. Вскоре по напечатании книги мне пришлось ехать за границу, и я не преминул заехать во Франкфурт-на-М. к Ноордену посоветоваться с ним насчет своего плана. Он, конечно, одобрил его и посоветовал мне обратиться с ним письменно к немецким корифеям-клиницистам узнать их мнение. От берлинского профессора госпитальной клиники я получил очень сочувственный ответ; от Лейдена — несколько уклончивый с не идущим к делу описанием важности бактериологического исследования, а от мюнхенского клинициста не получил никакого ответа. План свой с отзывом Ноордена и обоих поименованных клинистов послал в министерство народного просвещения и ректору Одесского университета, физику Шведову, так как в Одессе строились в то время клиники. Ответ от Шведова был сочувственный; тем не менее мой план канул в воду.

Столь же неудачен был мой проект изменения экзаменов на степень доктора медицины, представленный в ответ на циркулярное предложение министерства обсудить этот вопрос в факультетах. Помню, что главные пункты этого проекта были следующие: аспирант на докторство должен был прежде написать и защищать диссертацию в свидетельство избранной им специальности и уже затем держать экзамен — общеобразовательный для всех вообще докторантов по физике, химии, анатомии, физиологии и микроскопии и специальный по избранному им предмету. Под этим проектом подписался один Федор Федорович Эрисманн; всеми остальными членами факультета он был отвергнут.

Не могу не вспомнить по этому случаю печального факта удаления профессора Эрисманна, волею высшего начальства, из Московского университета. Человек этот имел очень большие заслуги перед нашим бедным отечеством. До него гигиена существовала в России лишь номинально, а в его руках она стала деятельным началом против многих общественных недочетов и

язв. Он основал *действительно рабочий* гигиенический институт, служивший не только науке, но и обществу. Для земской медицины он сделал столько, что в среде земских медиков имя его ставится, по заслугам, рядом с именем С. П. Боткина, и ставится справедливо. Работая не покладая рук, он был прекрасным профессором и нашел время написать обширный и очень ценимый специалистами учебник гигиены. Причина, из-за которой его удалили, осталась неизвестной, но, конечно, в силу господствующей у нас по сие время теории неблагонадежности, которая (т. е. неблагонадежность), по словам графа Делянова жене Эрисманна (а также известному юристу Дрилю), чувствуется начальством носом. Я знал Эрисманна более 25 лет; мы были с ним приятели; от меня он не скрывал ни своих взглядов, ни своих убеждений, и я могу свидетельствовать по совести, что он не был человеком крайних мнений. Нас, знавших Эрисманна со времени его приезда в Россию, всего более поражало в нем то, что он из швейцарца превратился в русского, искренно любил Россию и отдал все лучшие годы своей жизни на служение ей.

Не печально ли, что та же самая рука (г. Делянова), которая удалила заслуженного человека, сажала на кафедры ничтожества, позорящие профессорское имя? Настанет ли когда-нибудь конец таким печальным явлениям?

После этого невольного отступления возвращаюсь к прерванному мною рассказу о том, что было написано мною в Москве.

В заключение упомяну об одной из публичных лекций, читанных в Москве и напечатанных затем в «Вестнике Европы» под названием «Впечатления и действительность». Здесь разбирался вопрос, в какой мере совпадает видимое нами с действительностью, — вопрос, кажущийся с первого взгляда праздным, так как между чувствованием и действительностью лежит бездна. Однако к зрительным чувствованиям эта истина не вполне приложима, потому что они объективируются, т. е. выносятся наружу в виде определенной фигуры, определенной величины, определенного отстояния от глаза и с определенной окраской. Стало быть, в отношении зрительных впечатлений вопрос сводится к тому, насколько та или другая сторона объективированного чувствования совпадает с действительностью. В отношении плоской фигуры предметов, насколько она может быть очерчена линиями, вопрос разрешается следующим образом.

Хотя мы получаем от внешних предметов лишь чувственные знаки, но ежеминутный опыт доказывает несомненным образом, что тождеству или сходству чувственных знаков всегда соответствует тождество или сходство произведших их внешних влияний. Если поэтому плоскостная фигура предмета и его образ на сетчатке сходны между собою и образ на сетчатке сходен с соответственным объективированным чувствованием, то последнее сходно с плоскостной фигурой предмета.

Первое из этих положений не требует доказательств; сходство же между образами на сетчатке и объективированными

чувствованиями всего яснее доказывается явлениями светорассеяния в глазу, где видимое, *уклоняясь от действительности, совпадает с тем, что рисуется на сетчатке*. Так, внешний предмет кажется нам с расплывшимися контурами, если его образ на сетчатке расплывшийся; светящаяся точка видится раздвоенной, в виде треугольника, креста и проч., если поставить перед глазом ширму с разрезами, не заходящими за величину зрачка, в виде двух отверстий, треугольника, креста и проч. Это происходит тотчас же, как только глаз не приспособлен к отстоянию светящейся точки; но тогда и на сетчатке рисуются рассеянные образы в виде двух точек, треугольника, креста и проч. Да и какой смысл имело бы иначе присутствие в глазу человека и множества животных преломляющей среды, дающей плоскостные образы внешних предметов?

Работу с условиями неутомляемости и отдыхания я делал, находясь уже в отставке и пользуясь своим прежним помещением в лаборатории благодаря истинно дружескому отношению ко мне директора оной Л. З. Мороховца. Покончить преподавательскую деятельность побудили меня лета, сознание начавшейся отсталости в науке и убеждение, что старику не следует дожидаться времени, когда публика будет желать его ухода. Моя отставка не вызвала, правда, сожалений ни в начальстве, ни в слушателях; но, с другой стороны, признаков, чтобы мой уход был желателен, тоже не было. Прошение об отставке было подано мною в начале академического года, и месяца три я ничего не знал о его судьбе. Думая, что оно застряло на какой-нибудь инстанции от канцелярии университета до канцелярии министра, я отправился с вопросом по этому поводу к ректору и узнал, к немалому моему удивлению, что дело мое может быть покончено в несколько дней: по звону колокольчика явился чиновник из канцелярии, ректор поручил ему написать мой формуляр, и дело кончилось без дальнейших разговоров.

Но это не был еще конец моей преподавательской деятельности; настоящий конец был впереди.

В Москве при техническом обществе существуют так называемые Пречистенские курсы для рабочих, на которых читаются между прочим естественные науки, а также анатомия и физиология. Когда я впервые услышал об этом учреждении, то думал, что популяризация научных сведений доводится на этих курсах до крайних пределов, и был очень удивлен, что там читается не поддающаяся популяризации химия, притом таким серьезным человеком, как известный московский химик Михаил Иванович Коновалов (позднее профессор химии в Киевском политехникуме). Чтобы рассеять мои сомнения, я был приглашен слушателем на одну из его лекций. В жизнь мою я не слышал такого умелого приспособления серьезного чтения к умственным средствам аудитории. Курс, очевидно, был задуман и приводился в исполнение так, что всякий шаг вперед имел основание в одном из предшествующих ближайших. Делая такой шаг, лектор обращался к аудитории с вопросом, что́ послужило для

этого шага основанием, и из аудитории каждый раз раздавался верный ответ. При этом нужно заметить, что лекция М. И. нисколько не отличалась по содержанию от лекций, читаемых в университетах студентам. Сильное впечатление получилось и от аудитории, слушавшей с какой-то жадностью простую и ясную речь своего профессора, подкреплявшуюся на каждом шагу опытом. Еще большим уважением я проникся к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции, по окончании вечерних работ на фабрике, из-за Бутырской заставы; многие учатся иностранным языкам, некоторые даже английскому. Дай бог сохраниться и расшириться этому симпатичному учреждению — прообразу народного университета.

В начале прошлого академического года меня пригласили читать на Пречистенских курсах анатомию и физиологию, и я принял предложение, думая, что, отсталый для чтения в университете, годен еще на чтение элементарных курсов, тем более что мой верный друг и сотрудник М. Н. Шатерников взялся ассистировать на этих лекциях. И моя аудитория производила на меня отрадное впечатление своим вниманием и явным пониманием читаемого. С октября по февраль я успел прочитать устройство и подвижность скелета с законами распределения скреп и тяг, анатомию и физиологию внешних покровов, органы пищеварения, кровообращения и дыхания; оставалось только прочесть работу мышц и общий обзор нервных явлений, с более подробным описанием зрения и слуха. Но лекции должны были прекратиться вследствие получении мною бумаги, которую привожу дословно.

ИМПЕРАТОРСКОЕ
РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Постоянная комиссия по техническому образованию

Москва,
1904 г., февраля 9 дня
№ 523

ГОСПОДИНУ ИНСПЕКТОРУ
ПРЕЧИСТЕНСКИХ КЛАССОВ

Отношением г. директора народных училищ от 5 февраля 1904 года за № 814 профессор Иван Михайлович Сеченов не утвержден в должности преподавателя Пречистенских классов, и посему об освобождении его от занятий благоволите меня уведомить.

Председатель *К. Мазинг*

Так кончилась моя преподавательская деятельность.

Императорское
русское техническое
общество

Московский отделение

Постоянная комиссия
по техническому образованию

Москва

1904 г. февраля 9 дня

№ 523

Господину Инспектору Практического Техн.
Сев.

Отношением г. Директора Императ. Училища
вчер. от 5 февраля 1904 года за № 813, про-
фессор Иван Михайлович Сеченов ли
утвержден в должности преподавателя
практических классов, а по сему об-
ъявление его от занятий бывшая
ими должностью

председатель К Маевский

Таким кончились мои преподавательские занятия.

АВТОГРАФ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК» И. М. СЕЧЕНОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие редактора 3
Детство (1829—1843) 7
В инженерном училище (1843—1848) 20
В Киеве, сапером (1848—1850) 36
В Московском университете (1850—1856) 46
Возвращение в Россию и профессорство в Петербургской Медицинской Академии (1860 - 1870) 101
Профессорство в Одесском университете (1870—1876) 134
Профессорство в Петербургском университете (1876—1888) 146

Новосибирск НБ НГПУ
LIBRARY 1200895895